

Андрей Белый

Возврат



Андрей Белый
Возврат
Серия «Симфонии», книга 3

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3119945

Аннотация

«Серо-пепельное облако дымилось и сверкало своими нижними краями на горизонте.

Над ним небо казалось золотисто-зеленым, а под ним развернули желто-розовую ленту атласа, и вот она линияла.

Ребенок играл на берегу, копая бархатный песочек перламутровой раковиной... Иногда он лукаво смеялся. Хлопал в ладоши.

А в глазах его брызгали синие искорки.

Зыбкие, ускользящие волны рассыпались бурмидскими жемчугами...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	12
IV	17
V	21
VI	24
VII	27
VIII	31
IX	34
X	37
Часть вторая	39
I	39
II	42
III	44
IV	46
V	49
VI	51
VII	54
VIII	56
IX	60
X	63
XI	65

XII	67
XIII	69
XIV	72
XV	77
XVI	79
XVII	83
XVIII	86
Часть третья	87
I	87
II	89
III	92
IV	94
V	96
VI	100
VII	105
VIII	107
IX	109
X	112

Андрей Белый

Возврат

Часть первая

I

Серо-пепельное облако дымилось и сверкало своими нижними краями на горизонте.

Над ним небо казалось золотисто-зеленым, а под ним развернули желто-розовую ленту атласа, и вот она линияла.

Ребенок играл на берегу, копая бархатный песочек перламутровой раковиной... Иногда он лукаво смеялся. Хлопал в ладоши.

А в глазах его брызгали синие искорки.

Зыбкие, ускользящие волны рассыпались бурмидскими жемчугами¹.

Наигравшись, ребенок сел на берегу и стал вызывать из бездны моря своего товарища, краба, пока голубая волна не выплеснула ребенку его товарища.

¹ *Бурмидские жемчуга* – особенно крупные, добывавшиеся в Персидском заливе.

Краб был огромен и толст. Они стали возиться друг с Другом.

Ребенок хлопал в ладоши. Кидал в благодушного краба круглячками. А краб, изловчившись, запускал свою толстую клешню в белокурую головку ребенка и таскал шалуна вдоль песчаного бережка.

Потом, навозившись друг с другом, они подали друг Другу свои конечности, и толстый краб ушел в бездну моря.

А уж близился вечер... Пена сверкнула рубинами...

Окрестность замутилась бледно-синим туманом... Зазвякали высыпающие звезды...

Из-за утеса дважды полыхнула ядовитая вечерняя Молния.

Белый камень, похожий на человека, виднелся вдали на берегу: точно старик застыл, согбенный, и думал думу.

Ребенок смеялся, щуря синие очи, поглядывал на камень и говорил: «Знаю тебя... Ты прикидываешься...»

Но белое очертание не двигалось. Ведь это был только камень.

И ребенок зевал... Поглядывая на береговое очертание, он шептал не без лукавости: «Приходи скорее...»

Ребенок боялся молнии и туманов... Он ушел на груды камней.

Здесь он жил. Здесь ночевал. Отсюда он смеялся над туманами.

Прилетели черные, ночные кулички... Стали бегать вдоль берега, посвистывая: «Жди-и-и...» И под эти звуки он заснул...

Серо-пепельное море отливало снежным серебром, как бы очищенным от скверны.

Низкое, волнистое облако понависло над морем, закрывая лунный серп.

Выползший краб шевелил усами и щелкал клешнями. Это он грелся на суше, поглядывая на спящего хитрыми, ласковыми глазками.

Прошлое, давно забытое, вечное как мир, окутало даль сырыми пеленами... В море раздавалось сладкое рыдание: это восторг перерос вселенную.

Низкое облачко, волнуясь и дымясь, заколебалось над морем и потом, разорвавшись от восторга, понеслось куда-то вбок своими священными обрывками.

Там, где был камень, сидел старик. Он повернул к спящему ребенку невыразимое лицо свое, бархатным басом кричал спящему: «Твое тихое счастье отливает серебром...

«Так хорошо... Так лучше всего...»

Старик пошел вдоль берега, чертя на песке мистические знаки своим ослепительным жезлом.

Это он вычислял скорость междупланетных танцев; уже он вычислял тысячелетия, но еще не перестал удивляться...

Он бормотал: «Так повелел Господь Бог». Глухие подзем-

ные удары сопровождали его слова странным аккомпанементом.

Огромный, белый горб повис между небом и землею, и лунный серп, разорвав его в одном месте, посылал на старика свои мягкие лучи.

II

Ребенок проснулся. Он лежал на спине. Ему казалось, что небесная глубина, истыканная звучащим золотом, спустилась к его лицу.

И он поднимал голову, но небо убегало вверх, и никто не знал, как оно высоко.

Ребенок озирался сонными глазами. Был прилив» Море подошло. Теперь оно лизало серые камни.

Вдали несли херувим багровым метеором, оставляя на море летучую полосу огня.

И море шептало: «Не надо, не надо...» И херувим рассыпался потоком искр.

Ему казалось, что вселенная заключила его в свои мировые объятия... Все опрокинулось вокруг него.

Он свесился над черной бездной, в неизмеримой глубине которой совершался бег созвездий.

Его тянуло в эти черные, вселенские объятия. Он боялся упасть в бездонное...

Это только казалось.

Все было тихо. Оставалось по-прежнему. Вдали слышались восклицания: таинственный старик совершал вычисления, радуясь бегу планет.

Стал ходить по серым камням ребенок. Успокаивал себя:

«Это все сны... И мне не страшно...»

Море шумело. Пронеслась стая черных куличков, задевая ребенка упругими крыльями.

Пахнуло знакомой близостью. Не успел обернуться, как его плечи закутали теплым, козым пухом, и старческая рука стала поглаживать шелковистые волосы.

Это пришел старик. Ему смеялся ребенок: «Ты опять пришел. Ты не камень...»

Старик оборвал его, гремя басом: «Так хорошо... Так лучше всего...» Сел рядом.

Тонкий, изогнутый полумесяц затерялся в голубой ясности, порвав облачные иглы, занесенные в вышину... Старик весь просиял и казался снежно-серебряным.

То он наклонялся к спящему, воздевая над ним свои благословляющие руки, то, откинувшись, сидел неподвижный, весь сверкающий.

Белоструйная седина покрывала сутулые плечи. Борода протянулась до пояса.

Серые очи – две бездны, сидевшие в огромных глазницах, – впились в успокоенную даль.

Гасли бледно-синие туманы. Убегали на запад. Изумрудно-золотой небосклон розовел.

Ребенок протирал синие очи. Шептал: «Старик еще здесь». Забывался.

Серебряно-белые ризы, ослепительный жезл старика тре-

петали в оранжевых искрах.

На груди старика колыхалось таинственное ожерелье из бриллиантов. Казалось, это были все огоньки, вспыхнувшие на груди... А к ожерелью был привешен знак неизменной Вечности.

Старик молчал, но сдержанные восторги рвались из воспаленной груди его.

Казалось – он шептал: «Созвездие Волопаса прожило сто миллионов лет. Проживет и еще столько же... А к созвездию Пса приблизилась яростная комета...»

Это он вел счет своему хозяйству.

Ребенок проснулся. Старик исчез. С грустью вспоминал ночное посещение.

Взглянул туда, где торчал белый камень. Камня не было.

Нагрянувший прилив унес его в море, чтобы снова выбросить...

Ребенок задумчиво стал гулять вдоль берега. Собирал перламутры. Иногда он давил перламутры. Они хрустели под ногами.

Ветер дул ему в лицо, обсыпал бархатным песочком.

III

Белокрылый орел потряс окрестность ликующим криком, и этот крик слушал ребенок, прижавшись к черной скале...

В его глаза вставили по огромной бирюзе, и вот из глаз исходили лазурно-синие лучи, потому что ребенок слушал зов, по временам возникавший из Вечности.

Ему было грустно и весело. Он знал, что старик бродит в этих странах.

На фоне оранжевого горизонта плыл благодушный кентавр, рассекая прозрачные волны лошадиными копытами... Над морем восходил пламенный яхонт.

На него сбоку наплывала покорная туча своими длинными, узкими перстами из расплавленного золота... Скоро она все покрыла белым горбом.

Горбатые края засверкали.

К нему приполз краб. Сидел перед ним, раскорячившись. Оживленно толковали о текущих событиях.

Водяной обитатель спешил уведомить ребенка, что в глубинах – волнение: еще вчера к ним приполз неведомый змий и теперь залегает в кораллах.

Так говорил краб, разводя клешнями на солнечном припеке; со слезами на глазах умолял ребенка быть осторожным, не слишком удаляться от серых камней.

Но ребенок не боялся змия: он знал, что сюда пришел и старик.

Любопытный ребенок взобрался на черную скалу, нависшую над морем. Прозрачная вода не скрывала тайн.

Звезды морские усеяли дно. Ребенок видел на дне и загнувшегося змия, и бледно-розовый коралл с мелькавшими над ним бриллиантовыми рыбками.

Это была огромная змея с небольшой головой как бы теленка, увенчанной золотыми рожками.

Ребенок смеялся над спящим ужасом, шептал своим жемчужным голоском: «Ты мне не страшно, чудовище: я высоко над тобою. Мне весело! Меня защитят от твоих покушений!»

Так малютка покрикивал, то белея, то вспыхивая, но бледно-желтые волосы тихо встали над головой от неведомого ужаса.

Вдруг спящая гадина подняла телячью головку свою, – облизнувшись, мгновенно скрылась в коралловых зарослях...

Обернувшийся ребенок увидел старика.

Ризы старика не сверкали, как ночью, а на мраморном челе притаилась чуть видная морщина.

Старик прошел, не глядя на ребенка, по временам нагибаясь к земле.

Это он собирал жемчужины.

Водяные отрывки туч – снежно-белые, поддуваемые вет-

ром, – так низко пролетали над скалами.

Быстрая птица, возносясь, по временам пронзала их криком.

Вечер подкрался незаметно. Снова блестела зарница ядовито-коварным пламенем. В отчетливой ясности на востоке стоял огромный утес.

По вечерам там расхаживал строгий муж, охранявший Эдем. В его руках сверкал огненный меч.

По временам он заносил над вечереющим миром огнистое лезвие меча: тогда казалось, что вспыхивает молния.

Тонкая, изогнутая полоска серебра поднималась над волнами, и растянутые облачка засверкали, как знакомые, серебряные нити на фоне бледно-голубого бархата.

Ребенок не вернулся к серым камням, но остался ночевать на черной скале. Он ничего не боялся, потому что вдали от времени до времени сверкало облачко серебром своим и потом вновь пропадало.

Любовно засматривался ребенок на далекое сверкающее облачко, шепча: «Это старик. Его ризы сверкают...»

Вдали несли херувим багровым метеором.

Когда все уснуло, все успокоилось, из морской глубины поднялась к небу точно гигантская палка. Это была морская змея.

Рогатая, телячья головка, вознесенная кверху, быстро повертывалась во все стороны, высматривая и вынюхивая»

Потом она опустилась в глубину так же бесшумно, как и поднялась.

Глядя на морскую поверхность, никто не мог бы сказать, какие ужасы водятся в глубине ее.

Ребенок видел сон. Ему казалось, что огромные змеи дуют на него в своих могучих объятиях.

И он просыпался, но все было тихо. Вдали, в этих мировых объятиях, черно-бредовых, несся херувим багровым метеором, оставляя на море летучую полосу огня.

И море шептало: «Не надо, не надо...» И херувим рассыпался потоком искр...

С тех пор ребенок встречал старика и на крутизнах, и среди отмелей.

Его молчаливый силуэт был оваян тайной. Это впечатление усиливалось, когда ребенок смотрел на сутулые плечи старика.

Тогда ему казалось, что старик *совсем особенный*.

Однажды, обернувшись невзначай, старик поймал на себе синий взор, исполненный недоумения.

Но старик не пожелал выяснить недоумения: он не заговаривал с ребенком.

В те дни воздух был прозрачен, как лучистая лазурь и как

леопардова шкура. По вечерам особенно явственно вспыхивал багровый отблеск огромного меча, качаясь на волнах.

Иногда тут пролетали отголоски громов. Их нес ветерок, не давая вслушиваться в содержание этих громовых рокотов.

Здесь было ясно, но где-то не было так. Там висела грозозная туча, и ребенку казалось, что настанет день, когда туча передвинется сюда...

IV

Черные камни были навалены друг на друга. Неизвестно откуда выростали громады, окруженные безднами и провалами.

Старик взбирался по кручам, вонзая жезл в расщелины скал, а за ним карабкался ребенок, выслеживать тайны, вознесенные над землей.

Он был как в лихорадке. Глаза его сияли. Запекшиеся губы шептали: «В высоту».

Очертание мелькавшего старика безостановочно возносилось к высоте, без страха преодолевая и бездны, и кручи.

Седая голова, глубоко сидевшая в могучих плечах, была закинута назад со вскинутой бородой, раздуваемой ветром, а спина была выгнута дугой: старик сгибался, цепляясь руками за травы и кустарники, сидевшие в трещинах скал.

Черные камни высились до неба, чтобы оборваться к морю... Ветер свистал ил на ухо: «В высоту...»

Они взошли. Хребты нависли над морем. Головокружение – коварная обитательница высот – вскружило им головы. Казалось, что они в небе.

Внизу шумело море крохотными волнами, а благословляющий полукруг багряного солнца быстро убежал в невозвратную глубину.

Старик не боялся. Головокружительные слова срывались

с огненных уст, волнуя седину.

Бриллиантовое ожерелье блистало цветными мирами, и он отдавал солнцу летучие приказания:

«Созвездие Геркулеса обрекаю на пожар, а Сатурна замораживаю...» Это он вел счет своему хозяйству.

Стоя на высоте, старик мог ежеминутно сорваться, и ребенок дрожал от опасности. Ему хотелось крикнуть: «Спасите старика...»

Багряно-огненный полукруг убежал в глубину. От него осталась сверкающая точка.

Старик всплеснул руками и сорвался с острого хребта скал. Он не упал в водно-зеленую глубину, но исчез в пространстве между вершиной скалы и морем.

Вечерняя прозрачность была напоена грустью... Огромная белая птица тяжелыми взмахами крыл разрезала прозрачность.

Тихо покрикивая, уносились вдаль.

Поворачивала вправо и влево свою длинную шею. Покрикивала, тихо покрикивала, смеясь над невозможным.

На пернатой шее ее сверкало ожерелье из разноцветных огоньков, а таинственный знак неизменной Вечности раскачивался, привязанный к ожерелью.

Казалось, она летела далеко, далеко, в иные миры, к иным созвездиям.

Ребенок сказал: «Это неспроста... Старик *совсем особенный*...»

Тут его поцеловало головокружение, и золотые струи волос заплясали вокруг головы, и он, ахнув, ухватился за камни.

Огненные персты – персты восторга – тихо гасли один за другим.

Вдали еще виднелась летящая, белая точка.

Скоро она затерялась вдали, стремясь в иные миры, к иным созвездиям.

Ребенок заглянул вниз, где не было дна, а только успокоенная бесконечность.

Черная скала повисла менаду двумя небесами.

Сверху и снизу свесилось по ребенку. Каждый впивался в своего двойника безмирно-синими очами, то белея, то вспыхивая.

Темнело. Ветер носился вдоль сонных хребтов, путая и скидывая пушистые кудри ребенка.

Вдруг яркая молния сверкнула с востока из незаметно подкравшейся мглы.

Глухой рокот громов перекатился в туманных провалах. Дрогнули скалы, отрясая камни.

Испуганный ребенок заметил очертание строгого мужа, охранявшего Эдем, окруженного тучами бреда.

Это он возносил от времени до времени свой огненный

меч над вечерним миром и с силой ударял его о скалу.

Ночью ребенок спал, беспокоясь, тихо стеная. А внизу из моря выползла страшная гадина и потащилась вдоль берега, шурша и свиваясь в кольца.

Маленькая, телячья головка, увенчанная золотыми рожками, быстро поворачивалась по сторонам, высматривая и вынюхивая.

Она проползла мимо нагроможденных каменных обломков, где спал ребенок, и скоро затерялась в ночи.

С тех пор в воздухе показалась как бы дымка, а жгучее беспокойство ребенка усилилось.

В тревоге он ходил за стариком, прячась и подсматривая, как бы чуя близость гадины в этих местах.

V

Была темная ночь. Беспокойный ребенок, мучимый невидимым, тихо крался за мелькавшим в тумане стариком.

Старик шествовал с огненным светочем в руках, высоко вознесенным над головою.

Скоро он потерял старика и ходил в туманах, и жаловался.

Вдруг из тумана полыхнуло кровавое пламя. Ласковый голос нежно рокотал: «А кто это, проказник, все подсматривает за мной?..»

Ребенок заплакал, неизвестно почему. А над ним склонился белоструйный старик, и белые струи кудрей затанцевали на щеках у ребенка, точно среброрунные завитки козьего меха. Принял ребенка в свои мировые объятия, выпустив светоч из рук.

Огненный светоч потух и лежал на земле, опаленный и смрадный.

Старик. Глаза твои в слезах... Ты боишься и плачешь... Что с тобою?..

Ребенок. Я боюсь... На скале уже нельзя безопасно засматриваться в глубину. Там залегает сонный ужас между красными кораллами.

Старик. Это ничего... Это только так кажется.

Ребенок. Ветер шепчет мне, что я гибну, и ты пришел спа-

сать от сонных опасностей... Ветер шепчет мне, – будущее неизменно. Мне страшно, мне страшно, ты опять показался в этих местах... Я боюсь, что это уже не раз бывало когда-то, но кончалось печалью... Я рад, что ты здесь... Я люблю тебя, старик, но мне страшно.

Старик. Успокойся. Засни. Позабудь. Ужас еще до меня приполз подводными путями, и теперь не думаю, чтобы он осмелился подняться из глубин.

Тут повеяло дурным ветерком, и старик ужаснулся. За-молчал.

Сидел, пригорюнившись.

Отдаленное прошлое хлынуло на них от сверкающих в небе созвездий.

А к песчаному мысу плыла водяная змея, оглашая туманную окрестность протяжным ревом.

На ее спине сидел оборванец, почтительно держа гадину за позолоченные рожки, чтобы не свалиться.

Она не могла удушить ребенка и вот перетащила на спине через необъятный океан убийцу, способного на все...

Ребенок. Старик, кто это ревет так протяжно, так грустно в океане?.. Я никогда еще не слышал такого голоса...

Старик. Это морской гражданин вынырнул из глубины... Теперь он отрясает от воды свою зеленую бороду и пробует голос, потому что считает себя певцом...

Ребенок. Я знаю голоса морских граждан, и они не звучат так протяжно, так странно.

Но старик молчал. Дрожал от нехорошего холодка, обвевавшего их. Бормотал про себя: «Нет, его не спасешь... Он должен повториться... Случится одно из ненужных повторений его...»

«Наступает день Великого Заката».

Отдаленное прошлое хлынуло на них от сверкающих в небе созвездий...

На песчаном мысе происходило поганое совещание. Змий, свернувшись в мерзкий клубок, вытягивал свою шею и тупо мычал, а привезенный из-за туманного океана негодник покорно выслушивал приказания повелителя...

Пощипывал волчью бородку, сверкал зелеными глазками, мял в руке войлочный колпак, не смея надеть его в присутствии змеевидной гадины.

Наконец, гадина поползла к морю и, тяжело шлепнувшись, пропала в волнах.

Незнакомый поганец остался один на мысе.

Он развел здесь багровый огонек и убивал время в ожидании утра.

VI

Была ночь. На громадном черном утесе, вонзавшемся в небо, сутулый старик, весь протянутый к небу, стоял, опершись на свой жезл.

Струи холодных ветров били в ночного старика, и риза его была черна, как ночь. И она сливалась с ночью.

Струи холодных ветров били в ночного старика, и темнокрылая риза билась у него за спиной, протягиваясь лопастями.

Точно это были крылья ночи, и они сливались с ночью. И казалось, старик в черноте на громадном черном утесе не стоял, а летел, как летучая мышь, над миром.

И казалось, борода его протягивалась во мраке серебрунным облачком, как туманность, собирающаяся разродиться огненными слезами созвездий, неслась в ночном круговороте времен.

И сверкающее ожерелье мерцало на груди его, и казалось, это все были звезды. Иногда мерцающая звезда – оторванный от груди бриллиант – кружилась во мраке ночи.

И старик разбрасывал бриллианты. И бриллианты, точно новые посевы миров, ослепительно кружились во мраке ночи.

Казалось, на них зарождались новые жизни, новые роды существ совершали жизненные круги.

А старик все летел, размахивая крыльями. Летел и кричал: «Ребенок повторится. На каждом застывшем бриллианте возникнет он для вечных повторений».

Но это казалось. Старик в темноте, на громадном черном утесе, не летел, а стоял. Холодные струи ветров били в него, и темнокрылая риза протягивалась лопастями.

И по мере того, как на небо восходил белый день, темная риза его просветлялась чище снега.

Прозрачно-зеленое море подмигивало своею поверхностью, ударяясь о берег звонкими всплесками. Нежное, хрупкое, стеклянное небо казалось золотисто-зеленым... Только одни горизонты дымились лилово-багряным.

А то все было зелено.

Но еще зеленой был морской черт, поднявшийся из глубины, чтобы покричать на солнечном восходе.

Он простирали свои перепончатые лапы к недоступной, но милой суше, вращая темно-красными глазками...

Это был добродушный черт – обитатель моря.

Вокруг него побежали круги, отливая лилово-багряным.

Над зелеными волнами стали просвечивать атласные, тонко-розовые одежды морских красавиц, которые то приближались к поверхности, то удалялись в глубину.

Но это не были одежды красавиц, а нежно-заревые блики.

Вот уже зеленый морской черт, покричав и поплавав, нырнул в глубину: он плеснул серебристо-чешуйчатым хвостом

своим.

Все было пустынно и тихо.

Один лишь сутулый старик думал думу на крутом утесе.

Глаза его – две серые бездны, сидевшие в глубоких глазницах, – казались *совсем особенными*.

Таинственный знак неизменной Вечности висел на старческой груди.

Он тихо покачивался...

VII

Еще с утра в этих местах показался Царь-Ветер.

Теперь он гудел в большую раковину, сидя на гранитной глыбе.

И неслись эти плачевные звуки, жалуясь и унывая.

Шла буря.

Старик явился, как вихрь. Его волосы метались. Одежды старика рвались прочь.

В голосе раздавалось сдержанное негодование.

Ребенок понял, что не он предмет раздражения. Кто-то посторонний, проникший *даже сюда*, возбуждал негодование.

Старик взял его за руку и сказал: «Сегодня решится твоя участь».

И повел.

Безмирно-синее пространство, равнодушно смеясь над головами путешественников, провожало их долгим взором.

Грот был в глубине залива. Черно-серые камни высились над ним.

На противоположном берегу лежали горбуны-великаны, и торчали их горбатые груди.

Это были граниты.

Ослепительная синь, заслоняемая пышно водяными купо-

лами, пьяно смеялась над гранитами.

Внутри грота было темно и влажно.

Сверху падали водяные струи и вытекали из грота алмазным ручейком с опрокинутым в нем безмирно-синим странством.

Кто-то бегал над гротом в длинном, войлочном колпаке, потрясал коричневым рваньем и задорной бородкой, протягивал в синеющую даль залива свои мохнатые руки.

В одной руке он держал большую, желто-красную раковину и то прикладывал к отверстию раковины свои кровавые уста, выводя звуки и морща лоб, то прижимал ее к длинному уху, чтобы слушать, то выделывал кривыми ногами поганые скачки.

Он с ужимками славил бурю. Волчья кровожадность от времени до времени заливала багрянцем его землистое лицо.

Это был Царь-Ветер – душевно-больной.

Сюда привел старик ребенка.

Царь-Ветер быстро спрятался в камнях. Только войлочный колпак его торчал из-за серого камня, да порой раздавалось сдержанное чиханье.

И от этого чиханья трогалась серебряно-белая пыль, крутится и вновь расстилаясь вдоль берега.

Ревучие волны, вскипая, перескакивали через прибрежный бурун.

Черный буревестник распластался над морем.

Старик сказал: «Это грот дум. Здесь *впервые узнают. Отсюда впервые спускаются. Отправляются путешествовать...*

«Теперь наступило... Ты должен... Необходимо...»

И когда ребенок спросил, что наступило, старик отвернулся и вышел из темного грота.

Сел *думать* у низкого входа его, запахнувшись в плащ»
Сутулые плечи старика были высоко подняты. Казалось, миры вращались вокруг его священной бороды.

Ветерок заиграл мягкими, белыми кудрями. Пушистые пряди то вставали над огромным челом, то вновь прижимались к старческим щекам.

Точно они заигрывали с вечно-глубокой думой, зажженной в глазницах. Точно они просили: «Полегче, полегче... Не так серьезно...»

А из-за серых камней раздавался негодующий свист и чиханье: трогалась серебряно-белая пыль и, крутясь, мчалась вдоль берега.

Иногда из-за серых камней в неподвижного старика летели круглячки и чертовы пальцы.

Иногда показывалась голова душевно-больного колпачника, искаженная гримасой и совершенно бледная...

Иногда колпачник вскрикивал от избытка негодования, как кошка, у которой защемили хвост, и при этом скрывался за камни.

Тут у входа в грот произошло нечто странное. Солнце

пронзило туман, окатив старика, который встал с камня и заостенел в глухом порыве.

Вспыхнуло ожерелье старика на белой груди, и знак Вечности заколыхался от ветра.

Но старик разорвал на груди свое ожерелье, и бриллианты, как огненные слезы, упали на песок.

Потом он ушел, неизвестно куда, и померкло солнце.

VIII

Как только скрылся старик, неизвестный стал забрасывать в грот, стоя над ним, круглячки и чертовы пальцы.

А когда ребенок выходил из грота, он быстро прятался в камнях.

Наконец, неизвестному надоела игра в прятки. Он заглянул во внутренность грота.

Ребенок успел заметить его войлочный колпак и землисто-бледное лицо, обрамленное волчьей бородкой.

Скоро колпачник не утерпел, и силуэт его загородил свет у входа в грот.

Он медлил, высматривая, нет ли где старика, а когда убедился, что старик далеко, развязно вошел в грот.

Его зеленые глаза, точно два гвоздя, воткнулись в ребенка.

Он молча уселся на сером камне, набил свою трубку вонючим порошком.

Он предложил и ребенку щепотку вонючки и деловито заметил: «Ну, вот посидим... обсудим, что и как...»

Но ребенок отверг курево.

Потом он зажег трубку и стал попыхивать дымок, а ребенок с удивлением посматривал на пришедшего, соображая: «Кто бы это мог быть?»

Отовсюду неслись унылые звуки. Точно во всех отверстиях

ях заиграли на волынке.

Они начали беседу с непонятной боязни ребенка, а потом перешли и к любопытству.

Боязнь незнакомец назвал позорной слабостью, а любопытство одобрил.

Чистые, солнечные струи окончательно перестали врываться: бледно-пасмурная грусть – только она неизменно глядела теперь в отверстие грота.

Незнакомец упомянул о старике, с брезгливой гримасой заметил: «Прехитрый старикашка». Обвинял его в укрывательстве тайн.

Ребенок слушал с открытым ртом странные доводы зеленоглазого колпачника, поражаясь сочетанием глубины и юмора.

Струевой смех – безнадежный, печальный – раздавался в пещере, и под звук этого смеха текла речь колпачника.

Он стал рассказывать вещую сказку о Хандрикове, и по мере того, как выяснялась эта сказка, румянец сбегал со щек задрожавшего ребенка.

Наконец, сказка была кончена. Колпачник с трубкой в зубах отвернулся от ребенка, равнодушно вздернув свою волчью бородку, делая вид, что он тут в стороне, а зеленый пламенен, вспыхнувший в глазках, говорил о противном.

И когда ребенок воскликнул: *«Я не верю, что это правда»*, то колпачник сказал: *«А если не веришь, посмотри в дыру, зияющую в ноздреватом камне...»*

Тут он надвинул на волосы свой мягкий колпак, положил ногу на ногу, производя носком правой ноги вращательное движение, свирепо затянулся зловонным дымом.

Потом он сложил воронкой кровавые уста свои и, выпустив синие кольца заглотанного дыма, еще пронзил их общей струей.

Встал и ушел.

Ребенок остался один. Он думал, то белея, то вспыхивая.

Потом он приник к черной дыре, зиявшей в ноздреватом камне...

Страшно знакомым пахнуло на ребенка, будто разверзлись хляби Вечности.

В струевом смехе водопада раздавалась жалобная грусть, низвергающаяся сотнями жемчужин...

IX

И уж к нему приближался старик, пронзая его безднами глаз.

Он занес руки над головой, а в руках держал венок алых роз, – венок кровавых огней.

Он тихо поцеловал бело-бледного ребенка, возложив на него эти кровавые огни.

Он заметил горьким, любовным шепотом: «Венчаю тебя страданием...»

Но поднявшийся ветер обдул нежные, ароматные лепестки с белокурой головки. Понес их в безбрежное.

Скоро эти жгучие огоньки потухли в свинцовой дали.

И тут обоим им открылось странное зрелище.

На туманном берегу шагал высокий, пернатый муж с птичьей головой.

Белые перья топорщились на шее, когда он раскрывал свой желтый, орлиный клюв.

И сказал старик, указывая на мужа: «Вот орел: я пошлю его к тебе, когда наступит время.

«Ты уйдешь. Мы не увидим тебя. Пустыня страданий развернется вверх, вниз и по сторонам.

«Тщетно ты будешь перебегать пространства, – необъятная пустыня сохранил тебя в своих холодных объятиях...

«Тщетен будет твой голос...

«Но пробьет час. *Наступит развязка. И вот пошлю к тебе орла*».

Ребенок смотрел на пернатого мужа, шептал: «Орел. Милый...»

Грянул ливень. Водяные потоки заслонили орла, и он погрузился в тумане.

Еще немного они помолчали, сжимая друг друга в прощальных объятиях.

Старик сказал: «До свидания... Там, в пустынях, жди орла...»

Старик уходил в туман, направляя свой путь к созвездию Геркулеса. Льющаяся сырость занавесила его.

Одинокий грот, точно разинутая пасть, зиял из туманной мглы, а над гротом торчали черные глыбы с бледно-мраморными жилками.

Вдоль их каменных грудей мчались туманные отрывки, облизывая эти груди, цепляясь за них.

На глыбах потешался Ветряной Царь, потрясая лохмотьями и взывая. Мокрый, войлочный колпак, пробитый ливнем, грустно повис набок.

В руке он держал корявую раковину. Размахнувшись, разбил ее о камни в ликующем восторге.

Иногда растрепанный отрывок тумана заслонял Ветряного Царя; но он с криком прорывал туманный обрывок, просо-

Вывал свою мохнатую, волчью голову, голося, как буревестник.

X

Буря ушла. Заря очистилась.

Морская поверхность казалась пересыпающейся бездной изумрудов попережку с багряными рубинами.

Ребенок сидел на сыром берегу, уронив голову на колени.

Бесконечная пустыня распластывалась вверх, вниз и по сторонам.

А старика уже не было с ним...

Толстый краб приполз к ребенку и сжал его в своих сухих, кожистых объятиях, словно прощаясь с ним навеки.

И потом вновь ушел в глубину.

Вдали показался парус и вновь скрылся из виду.

А старика не было с ним...

Морской гражданин, лысый, зеленобородый, курносый, привел выводок низколобых сыновей на ближнюю скалу и учил их низвергаться в пучину.

То он стоял на вершине скалы. В лучах заката горело пламенное лицо его; испуская ревы, он похлопывал себя по вздутому животу.

То с вытянутыми руками низвергался в изумрудную пучину, образуя своим падением рубиновый водоворот.

На скале топтались низколобые сыновья морского граж-

данина, потрясали руками с растопыренными, перепончатыми пальцами. Тихо покрикивали, испуганные высотой.

А толстопузый старик, нырявший в морских изумрудах, кричал им: «Ну-ка, ну-ка, сынишки... У кого хватит смелости?..»

Его зеленая борода плавала вокруг него, а лысина блестела на заре...

С удивлением ребенок смотрел на жизнь, еще недавно закрытую от его взоров, грустно вспоминая свое прежнее, закатившееся знакомство.

Старика уже не было с ним...

Темнело. Красный диск, пущенный из-за горизонта рукой великана, плавно возносился в вечернюю глубину.

Бледно-снежные, длинные» иглы, высоко замерзшие в небесах, составляли перистое облако. Точно позабытая сеть, оно двигалось по небу.

Засверкавший месяц попал в эту сеть и грустно мерк, пойманный в ловушку.

Ребенок засыпал. Ему казалось, что все *осталось по-прежнему*.

А старика уже не было с ним...

Засверкавший месяц, порвав коварную сеть, продолжал возноситься в безмятежную чистоту.

Часть вторая

I

Он проснулся. Был мрачно-серый грот. Раздавался знакомый шум моря.

Но не было так: разбудила супруга. Бегала вдоль маленьких комнат. Шлепала туфлями. Ворчала на прислугу.

Все напоминало, что сон кончился. Пропал безвозвратно.

Ушел до следующей ночи.

Знакомый шум моря по-прежнему раздавался из-за перегородки, оклеенной дешевыми обоями.

Но и это не было так: за перегородкой не было моря. Шипел самовар на круглом, чайном столике.

Вскочил как ошпаренный. Удивлялся, недоумевая, откуда вернулся, тщетно вспоминая, где был.

Припомнилось и время, и пространство, и он сам, магистрант Хандриков.

«Да-а», – сказал он, почесываясь, и стал надевать сапоги.

За утренним чаем сидели супруги Хандриковы. Вокруг них ходил неприятный ребенок с капризным, дряблым личиком.

Софья Чижиковна обжигалась чаем. Спешила на урок.

Малютка споткнулся. Упал. Распластался на полу, как большая морская звезда. Заорал кошкой.

Хандриков стал утешать малютку. Ползал на карачках. Изображал лошадку.

Но малютка отворачивал от него свое дряблое личико. Заливался слезами. Наливался кровью.

И сам магистрант, Евгений Хандриков, дивился себе, ползающему в пространстве, потому что в душе он таил надежду, что кругом *все сон, что нет никого*, что бесконечная пустыня протянулась вверх, вниз и по сторонам, что он окутан туманной беспредметностью и звездные миры тихо вращаются в его комнате.

Это он думал, ползая на карачках.

А Софья Чижиковна указывала на ползающего, присовокупляя: «Не плачь, Гришенька: вот лошадка».

Все было чудесно. Самовар потух. В трубе кто-то выл, потому что на улице стоял ветер, и Хандрикову казалось, что это – сигнал, подаваемый Вечностью для ободрения затерянного, чтобы у него не была отнята последняя надежда.

Он бежал в незнакомых пространствах мимо обычных домов с поднятым воротником, потирая то нос, то уши.

Что-то пытаюсь передать, ветер поддувал его холодное пальто.

Пахло дымом. Телеграфный столб глухо рокотал. Угрюмые дворники окачивали песком ноги пешеходов.

Иней осаждался, словно туманная беспредметность, и мелькали служаки, покрытые инеем.

Они спешили в притоны работы, выпуская струи пара, и узнавали друг друга в этих утренних встречах.

Тонкий, как палка, бледнолицый юноша спешил все туда же. Бык Баранович Мясо казался дельфином в енотовой шубе и с портфелем под мышкой.

Но Хандриков не смущался ежедневными образами, но бежал в лабораторию.

Перед ним протянулась улица. Конка тоскливо хрипела, жалуясь на безвременье.

Трубы выпускали бездну дыма, а над дымом стоял морозный пожар.

II

В лабораторном чаду тускнели угрюмые студенческие силуэты, еще с утра притащившиеся со всех концов Москвы.

Все они сходились в одном: равно дымили, производя зловоние.

Хотя тот нюхал пробирки, а этот их мыл; тот зажигал багровенькое пламя, а тот уничтожал его.

В их бесцветных очах не отражалось тусклое отчаяние.

Хандриков прибежал в лабораторию. Запалив огонек, перегонял покорные жидкости из сосуда в сосуд, не обращая внимания на планетный бег.

Земля вертелась вокруг солнца. Солнце мчалось неизвестно куда, приближаясь к созвездию Геркулеса.

Никакие знания не могли занавесить эту вопиющую неизвестность.

Наклонилось мертвенное лицо и два глаза, как зеленые гвозди, воткнулись в Хандрикова. Кровавые уста собирались улыбаться, но волчья борода скрывала эту усмешку.

Чем-то страшным, знакомым пахнуло на вздрогнувшего магистранта. Он тихо вскрикнул.

Но то был только доцент химии, незаметно пришедший и теперь наблюдавший работу Хандрикова.

Доцент метил в профессора. Он был сух и позитивен. Он заговорил о новом способе добывания серной кисло-

ты, а мертвенное лицо его, казалось, таило в себе порывы неистовств.

В настоящую минуту он вел тяжбу с психиатром Орловым, и этим объяснялся мертвенный цвет его лица.

«Маска», – подумал Хандриков, созерцая страшно-знакомое доцентское лицо, в котором для всякого другого не было ничего особенного.

Он прислушивался к спокойному течению речи, в которой можно было заметить странное сочетание глубины и юмора.

Они не любили друг друга.

III

Магистрант Хандриков уже восемь лет бегал в лабораторию и уже плевал кровью.

Он часто задумывался. Товарищи называли философом Хандрикова в знак презрения к его думам.

Доцент же сомневался, чтобы точное знание было предметом этих дум.

Был Хандриков росту малого и сложения тонкого. Имел востренький носик и белобрысенькую бородку.

Когда он задумывался, то его губы отвисали, а в глазах вспыхивали синие искорки. Он становился похожим на ребенка, обросшего бородой.

В лаборатории бегал Хандриков в прожженном пиджачке. Так же он бегал и дома, а в гости надевал черный сюртук и казался еще меньше от этого.

Хандриков больше молчал. Иногда его прорывало. Тогда он брызгал слюной и выкрикивал дикость за дикостью своим кричащим тенорком, прижимая худую руку к надорванной груди.

С ним происходило. На него *налетало*. Тогда он убегал от мира. Улетучивался.

Между ним и миром возникали недоразумения. Возникали провалы.

За все это товарищи называли его чудаком.

Слушая сигнал, подаваемый Вечностью, вот и сейчас он пролетел сквозь призрачную видимость. Застыл с горелкой в руке, перегревая колбу с жидкостью.

Дребезжа стеклами, лопалась колба. И товарищи хохотали, когда улетучившийся Хандриков пришел из пространств. Вернулся обратно. Обтирался от жидкости едкого запаха.

Говорили лаборанты, зажимая носы: «Опять Хандриков разбил стеклянку». И открывали форточки.

Сутулая Софья Чижиковна шагала с урока на урок. Увидев стену, заклеенную объявлениями, она вскинула пенснэ на свой красный нос.

Объявлялись лекции и «Об оздоровлении русской женщины», и «О Германии», и о многом другом.

Объявлялось, что Фрич прочтет «О всем новом», а Грач «О старом»; Меч «О южном полюсе», а Чиж «О большом таланте».

Все до конца прочтя, вознамерилась Софья Чижиковна прослушать лекции Чижа и Грача.

IV

Вечерело. Профессор Грибоедов доканчивал свою лекцию «О буддизме», а профессор Трупов «О грибах».

Оба были взволнованы своим чтением, но слушатели обоих были равно спокойны. Оба походили на старинных кентавров.

Вечерело. Студенты расходились в рваных шубах, спеша в кухмистерские. На усталых лицах трепетали суровые тени, когда они глухо перекидывались словами.

В тусклых глазах не отражалось отчаянье.

Хандриков тщетно обращался к своему молчаливому, точно призрачному, товарищу, шагая по комнате.

Тот упорно встряхивал жидкость в пробирке.

Хандрикову казалось, что он один. Страшно было ему, — страшно было ему в одиночестве.

И он оглушал себя собственным голосом, чтоб заглушить в душе своей вопиющие зовы вселенной.

Говорил: «Кто живет жизнью живой? Кто пользуется нашим трудом? Для чего мы трудимся?»

«Перетаскивают из города в город и, перетаскивая, вновь затягивают лямку на шее. Нас лечат, когда мы больны, и потом снова портят здоровье.

«Себя, о, себя отдаем мы в труде и неволе. Нас не убьют,

не заморозят, не дадут умереть с голоду.

«Где же *да*, которое мы отдаем?»

Угрюмо сопел прозрачно-бледный лаборант, истощенный трудом и усталостью. Заткнув большим пальцем пробирку, потряхивал ею.

Из-за тумана выползала луна над тяжело-черными громадами зданий. Заволакивалась дымом, как венчальной фатою.

Казалось, она хотела сказать: «А вот и вечер, вот я... Вот будет ночь... И вы уснете...»

Площадка, куда выходили двери различных квартир, озарилась слабо брезжущим фонарем.

Одна из дверей распахнулась. Оттуда выбежала сутулая Софья Чижиков на и как сумасшедшая бросилась вниз по ступеням.

Она проголодалась. Она устала. Она стосковалась по муже.

И вот неслась сутулая Софья Чижиковна по ступеням, поспешая в холодный дом свой.

Хандрикову казалось, что он один. Ему было страшно, — ему было страшно в одиночестве.

Говорил. Оглушал себя собственным голосом. А Вечность зывала и в душе, и в окнах лаборатории.

Говорил: «Работаю на Ивана. Иван на Петра. А Петр на меня. Души свои отдаем друг за друга.

«Остаемся бездушными, получая лишь необходимое пра-

во на существование...

«Получая нуль, становимся нулями. Сумма нулей – нуль...

«Это – ужас...»

Все ужасалось и разверзлось, зияя. Над головою повисла пасть – пропасть Вечности. Серые стены лаборатории казались подземными пещерами. Вдали раздавался шум моря. Но это была электрическая печь.

Тут Хандриков успокоился. Ему показалось, что он затерялся в пустынях.

Из-за тумана над громадами домов смеялась лупа, повитая венчальной фатой.

Она хотела сказать: «Вот я, круглая, как нуль... Я тоже нуль. Не унывайте...»

Тут призрачный лаборант поспешил обнаружить свое присутствие. Встряхнул пробиркой. Внезапно поднес ее к носу Хандрикова, ототкнув отверстие.

Свирепо отрезал: «Чем пахнет?»

V

Хандриков прыгнул в конку. Стоя на площадке, склонялся. Сквозь бледные стекла созерцал жавшихся друг к другу пассажиров.

Грустно они поникали при свете фонаря.

Все они были, бесспорно, разных образов мысли, но сошлись в одном пункте – у Ильинских ворот.

Теперь они проделывали одно общее дело: мчались по Воздвиженке к Арбату.

Казалось, в замкнутом пространстве был особый мир, случайно возникший у Ильинских ворот, со звездами и туманными пятнами, а приникший к бледному стеклу Хандриков из другого мира созерцал эту вселенную.

Он думал: «Быть может, наш мир это только конка, везома тощими лошадьми вдоль бесконечных рельсов. И мы, пассажиры, скоро разойдемся по разным вселенным...»

Замерзший кондуктор, греясь от холода, вытопатывал ногами рядом с Хандриковым. Точно он глумился над дикой грезой его.

Зверски сосредоточенно вперил кондуктор в мглистую даль улицы свое лицо, замерзшее от мороза.

Вокруг бежали незнакомцы и знакомцы, покрытые шерстью. Точно это были медведи и фавны. Нет, это были люди.

Мимо промчался кентавр, дико ржа и махая палкой, а ря-

дом с ним мчалась лошадь. Но это был мальчишка коночник.

И вспомнил Хандриков, что все это уже совершалось и что еще до создания мира конки тащились по всем направлениям.

VI

Прибежали усталые Хандриковы. Кушали после трудов; им подали сосиски с кислой капустой.

Они казались трупами, посаженными за стол.

Передавали друг другу свои тусклые, дневные впечатления. Давился Хандриков сосиской, раздражаясь деланным смехом.

В стекла просилась ночь. Отражались их тусклые образы – полинявшие, словно занесенные туманом.

Внимательный наблюдатель заметил бы, что отражение Хандрикова не смеялось: ужас и отчаяние кривили это отраженное лицо...

А все отражение тряслось от бесслезных криков и рыданий.

Голубая ночь пронизала воздушно-черное пространство. Голубая ночь ослепила прохожих.

Человек с мертвенно-бледным лицом и кровавыми устами, не ослепленный ночью, выставил из шубы волчью бородку.

Стучал калошами по толстому льду»

На голове его была серая, барашковая шапка, торчащая колпаком. Скоро колпачник позвонился у подъезда.

Немного спустя он сидел в уютном кабинете профессора

Трунова, потирая замороженные руки.

Это был доцент химии – Ценх.

Скоро к нему вышел маститый, седой Трупов с огромной лысиной и в золотых очках. Скоро они сидели друг перед другом, и доцент рассказывал то о своем процессе с психиатром Орловым, то о состоянии химии, то о молодых силах, работающих в области химии.

Перечислял по пальцам лаборантов и магистрантов, иных хвалил, многих порицал.

Упомянув о Хандрикове, безнадежно махнул рукою и сказал с раздражением: «Бездарность», Его лицо таило порывы неистовств и казалось маской.

Он закурил папиросу и продолжал свою речь. Выпускал дымовые кольца из кровавых уст своих, сложенных воронкой. Пронзил их общей струей.

Его речи поражали сочетанием глубины и юмора. Но этого не замечал профессор Трупов.

Сняв с толстого носа свои очки, он протирал их носовым платком и казался старинным кентавром.

Подкрался сон. Нянчил Хандрикова, как ребенка больного и запуганного.

Улыбался химик этим сказкам, возникавшим с ночью, а желтая супруга положила руку на плечо Хандрикова и шепнула: «Отчего ты не нежен со мной?»

Ей не отвечал Хандриков. Отмахивался, как от мухи. Шел

спать.

Натягивая одеяло, думал: «Ну, теперь все кончится. Все улетит. Сейчас провалишься».

На плач ребенка сонный Хандриков поднимался с постели. Сажал крикуна на плечи и, точно призрак, ходил по комнатам в нижнем белье.

Луна окачивала призрачного Хандрикова своим грустным светом. Кто-то сонный, ластясь, приговаривал: «Теперь ночь... Что ж ты не спишь?»

VII

На другой день был праздник. Размякло. Совершилась оттепель. Хандриков зашел побриться.

Его увили пеленами. Облеченный в белые одежды ухватился за щеку Хандрикова и намылил ее.

Хандриков глядел в зеркало, и оттуда глядел на него Хандриков, а против него другое зеркало отражало первое.

Там сидела пара Хандриковых. И еще дальше опять пара Хандриковых с позеленевшими лицами, а в бесконечной дали можно было усмотреть еще пару Хандриковых, уже совершенно зеленых.

Хандриков думал: «Уже не раз я сидел вот так, созерцая многочисленные отражения свои. И в скором времени опять их увижу.

«Может быть, где-то в иных вселенных отражаюсь я, и там живет Хандриков, подобный мне.

«Каждая вселенная заключает в себе Хандрикова... А во времени уже не раз повторялся этот Хандриков».

Но облеченный в белую одежду оборвал вещую сказку. Он освободил химика от пелены и галантерейно заметил: «За бритье и стрижку 40 копеек»...

С крыш капало. Весело чирикали воробьи. В книжном ма-

газине продавали рассказы Чирикова².

И весенний ветерок дул в Хандрикова, прохлаждая обреченное место.

Низкие, пепельные облака налетали с запада.

Одинокое сердце его почуяло неведомую близость кого-то, уходившего надолго и снова пришедшего для свиданий.

Он пошел в баню»

² *Чириков* Евгений Николаевич (1864–1932) – русский писатель-реалист, участник сборников «Знание».

VIII

Общие бани были роскошны. На мраморных досках сидели голые, озабоченные люди, покрытые мылом ж в небывалых положениях.

Здесь седовласый старик со вздутым животом окатил себя из серебряной шайки и сказал: «Уф...» Там яростный банщик скреб голову молодому скелету.

В соседнем отделении был мраморный бассейн, украшенный чугунными изображениями морских обитателей.

Изумрудно-зеленое волнение не прекращалось в прохладном бассейне, зажигая волны рубинами.

Сюда пришел седовласый старик, окативший себя кипятком из серебряной шайки, и привел сына. Стоя над бассейном, учил сына низвергаться в бассейн.

То, испуская ревы, он похлопывал себя по вздутому животу, озаренный кровавыми огоньками. То с вытянутыми руками низвергался в волны, образуя своим падением рубиновый водоворот; от него разбегались на волнах красные световые кольца и разбивались о мраморные берега.

Хандриков вымылся в бане. Теперь он стоял под душем, и на него изливались теплые струи, стекая по телу жемчужными каплями.

Они текли. Все текли. И течению их не предвиделось кон-

ца:

Хандриков думал: «Другие Хандриковы вот так же моются в бане. Все Хандриковы, посеянные в пространстве и периодически возникающие во времени, одинаково моются».

Однако пора было прекратить течение струи, и голый Хандриков повернул кран.

Хандриков одевался. Тут стояли диваны. Перед Хандриковым сидел распаренный толстяк, еще молодой, и посматривал на Хандрикова хитрыми, рачьими глазками.

Он сидел, раскорячившись. Походил на огромного краба. Вдруг закричал: «Хандриков! Здравствуй, брат!». И химик узнал своего товарища физика.

Скоро они весело беседовали, и физик сказал ему: «Приходи сегодня в пивную. Проведем вечерок. Жена не узнает».

Хандриков вышел из бани. Проходил по коридору, украшенному ноздреватыми камнями. Столкнулся с высоким стариком в бобровой шапке и с крючковатой палкой.

Высокие плечи старика были подняты, а из-под нависших седых бровей сквозили глаза – две серые бездны, сидевшие в огромных глазницах.

Ему показалось, *что старик совсем особенный.*

В руке у старика был сверток – синяя коробка, изображавшая Геркулеса. Геркулес упражнялся гирями.

И ему показалось, что он уже не раз видел старика, но за-

был, где это было.

Обернулся. Провожал глазами. Смущался вещим предчувствием.

А вьюга засвистала, как будто ревуший поток времен совершал свои вечные циклы, вечные обороты.

И несло, и несло; это вихревой столб – смерч мира, повитый планетными путями – кольцами, – летел в страшную неизвестность.

Впереди была пропасть. И сзади тоже.

Хандриков вышел на улицу. В окне колониальной лавки выставили синие коробки с изображением Геркулеса. Хандриков вспомнил старика и сказал: «Солнце летит к созвездию Геркулеса...»

Пролетевшие вороны каркнули ему в лицо о вечном возвращении. В ювелирном магазине продавали золотые кольца.

Серо-пепельные тучи плыли с далекого запада, а над ними торчало перисто-огненное крыло невидимого фламинго.

И такая была близость в этой недосыгаемой выси, что Хандриков сказал неожиданно: «Развязка близится». Удивился, подумав: «Что это я сказал?»

Серая пелена туч закрыла огненный косяк, и кругом закружились холодные, белые мухи.

Таинственный старик, вымытый банщиком, расхаживал вдоль раздевальни, закутавшись в белоснежную простыню.

Он кружил вокруг диванов, чертя невидимые круги. Кружился, кружился и возвращался на круги свои.

Кружился – оборачивался.

Величественный силуэт его показывался то здесь, то там, а в серебряной бороде блистали жемчужные капли.

Кружился, кружился и возвращался на круги свои. Кружился – оборачивался.

Двое раздевались. Один спросил другого: «Кто этот величественный старик, похожий на Эскулапа?» А другой ему заметил: «Это Орлов, известный психиатр – тот самый, который затеял процесс с доцентом химии Ценхом...»

Старик оделся. Выходил из бань. Нацепил на пуговицу шубы сверток с изображением Геркулеса.

И теперь этот сверток раскачивался на груди старика, точно знак неизменной Вечности.

IX

В некоем погребке учинили они пирушку с безобразием – Хандриков и трое.

Это был товарищ физик, товарищ зоолог и товарищ жулик.

Первый занимался радиоактивными веществами и криогенетическими исследованиями, был толст и самодоволен, походя на краба, а второй, копаясь днем в кишечнике зайца, по вечерам учинял буйства и пьянства; это была веселая голова на длинных ногах; туловище же было коротко.

Третий держался с достоинством и не занимался ничем легальным.

Они были пьяные и шумели в мрачном, как пещера, погребке – шумели – красные, разгоряченные трольды³.

Стукались кружками, наполненными золотыми искрами. Просыпали друг на друга эти горячие искры – не пиво.

Хотя хозяин погребка и уверял, что подал пиво, – не верили.

Физик кричал, походя на огромного краба: «Радиоактивные вещества уничтожают электрическую силу. Они вызывают нарывы на теле».

³ *Трольды*, или тролли, – в германо-скандинавской мифологии великаны, обитающие в пещерах, где они хранят свои сокровища. Они уродливы, обладают огромной силой, но глупы.

В высокие окна погребка ломилась глубина, ухающая мраком. Хозяин погребка, как толстая жаба, скалился на пьянствующих из-за прилавка. Хандрикову казалось, что это колдовской погребок.

А товарищ физик выкрикивал: «Времени нет. Время – интенсивность. Причинность – форма энергетического процесса».

И несло и несло: вихрь миров, бег созвездий увлекал и пьянствующих и погребок в великую неизвестность.

Все кружилось и вертелось, потому что все были пьяны.

Софью Чижиковну трясла лихорадка. Она не могла дочитать «Основания физиологической психологии». Легла. Жар ее обуял.

Впадала в легкий бред. Шептала: «Пусть муж, Хандриков, сочиняет психологию, пока Вундт заседает в пивных...»

Было два часа. Их вынесло на воздух. Они шатались – выкрикивали.

Пальто их не были застегнуты, а калоши не надеты, хотя с вечера еще приударило и приморозило.

Хандриков закинул голову. Над головою повисла пасть ночи – ужас Вечности, перерезанный Млечным Путем.

Точно это был ряд зубов. Точно небо оскалилось и грозило несчастьем.

Хандрикову казалось, что кругом не улицы, а серые утесы, среди которых журчали вечно-пенные потоки времен.

Кто-то посадил его в челн, и вот поплыл Хандриков в волнах времени к себе домой.

Что-то внесло его в комнаты, где бредила больная жена.

Х

Пьяный Хандриков уложил с прислугой больную жену. Прислуга ворчала: «Где пропадали?»; а Хандриков отвечал, спотыкаясь: «Плавал я, Матрена, в волнах времени, обсыпая мир золотыми звездами». Не раздеваясь, сел у постели больной.

Свинцовая голова его склонилась на грудь. Тошнило от вина и неожиданной напасти.

Пламя свечи плясало. Вместе с ним плясала и черная тень Хандрикова, брошенная на стену.

Закрыв глаза. Кто-то стал ткать вокруг него серебристую паутину. А за стеной раздавался свист Вечности – сигнал, подаваемый утопающему, чтобы не лишить его последней надежды.

Кто-то сказал ему: «Пойдем. Я покажу». Взял его за Руку и повел на берег моря.

Голубые волны рассыпались бурмидскими жемчугами. Ходили вдоль берега босиком. Ноги их утопали в серебряной пыли.

Они сели на теплый песочек. Кто-то окутал его плечи козым пухом.

Кто-то шептал: «Это ничего... Это пройдет».

И он в ответ: «Долго ли мне маяться?» Ему сказали: «Ско-

ро пошлю к тебе орла».

Ветер шевелил его кудри. Серебристая пыль осыпала мечтателей.

Тонкая, изогнутая полоска серебра поднималась над волнами, и растянутые облачка засверкали, как знакомые, серебряные нити на фоне бледно-голубого бархата.

Проснулся. Горизонты курились лилово-багряным. Все было хрупко и нежно, как из золотисто-зеленого стекла.

Старик удалялся, смеясь в бороду. Голубые волны рассыпались тающими рубинами.

Разбудила прислуга. Вскочил как ошпаренный перед постелью больной.

И вспомнилось все.

Был зелен, как молодой, древесный лист, а она багровела, как сверкающая головешка.

XI

Белокрылый день бил в окна гигантскими взмахами. Старик блистал стеклами очков, расправлял снеговую, длинную бороду.

Это был доктор Орлов, известный психиатр, пришедший к Хандрикову, неизвестно почему, пожелавший лечить его жену.

Стояли у постели больной. Доктор Орлов обрекал ее на гибель, простирая над постелью свои благословляющие руки.

Его сутулые плечи были высоко подняты. Из серых очей изливались потоки Вечности.

Страшно знакомым пахло на Хандрикова, и он не был уверен, знает ли об этом старик.

Но старик знал все. Ухмылялся в бороду.

Белокрылый день мощно бил в окна.

На лекции доцента Ценха Хандриков опускал стеклянную трубочку изогнутым концом своим, опрокидывал над водою стеклянный цилиндр, собирая газы.

Хандриков вспоминал о больной. Грустил, что находится в зависимости у Ценха, а Ценх, сложив воронкой кровавые уста свои, точно он и не стеснял ничьей свободы, радостно возглашал: «Вы видите, господа, что зажженная спичка по-

тухла. Заключаем, что полученный газ был азот».

А Хандриков думал: «Не избавит ли от рабства меня Орлов, затеявший процесс с Ценхом?»

Едва подумал, а уж два глаза Ценха, как искристые зеленые гвозди, воткнулись в душу Хандрикова, и в них засияла стародавняя ненависть.

И все несло, все несло, крутятся и взывая к безмирному: на дворе бушевал ветер.

Бежал к больной жене, к Софье Чижиковне. Возшла луна. Белая колокольня, точно кружевная, рельефно выделялась на фоне голубой ясности. Золотой крест сверкал над ужасом в недостижимой выси.

Трубы выпускали бездну дыма. Дым растягивался в белые, сверкающие нити.

Ласковым взором ловил Хандриков эти знакомые нити. Дома ожидал его бред жены и толстая теща – коротышка, испещренная бородавками.

Ночью все повскакали, прогоняя сны. Малютку унесли к соседям.

Строгое очертание неизвестной женщины лежало за перегородкой.

XII

Хандриков тупо смотрел на восковое лицо. Высился гроб. Мерцал золотом. Тяжелые свечи в траурных бантах окружали его.

Безмирно-огненный закат зажег парчу и морозные узоры окон миллионами рубинов.

Все было жутко в полумраке. Казалось, сюда придет Вечность.

Но пришел только Орлов и стал в темный угол. Оттуда виднелось заревое лицо его, почтительно склонившегося, сверкавшего очками.

Очки были огненны от зари. Два багровых пятна усталились на Хандрикова.

Голос беспощадной монашки тихо отчеканивал: «Господи, Господи». Словно промерзшие листья, шелестя, уносились в одинокое безвременье.

А Ценх читал в аудитории: «Можно было бы думать, что поперечное сечение пути тока пропускает не только одинаковое количество электричества, но и одинаковое количество каждого из ионов».

Темная улица виднелась из окна. В глубине двигалась конка – черная громада, сверкавшая мистическим глазом.

Над домами еще багровело.

И белая колокольня, точно кружевная, рельефно выделялась на фоне вечерней багровости. И золотой крест сверкал над ужасом в недостижимой выси.

А Ценх продолжал: «Однако Кирхгоф⁴ показал, что это не так».

Закат кончился. Рубины погасли. Теперь повисла синяя тьма.

«Господи, Господи», – долетало откуда-то из дали, словно октябрьское дуновение.

И невидимые листья, шелестя, вновь понеслись в одинокое безвременье.

⁴ *Кирхгоф* Густав Роберт (1824–1887) – немецкий физик, автор ряда открытий, названных его именем: правила Кирхгофа для электрической цепи, закон излучения Кирхгофа, уравнение Кирхгофа.

XIII

Ребенка взяла к себе теща, Помпа Мелентьевна. Потекли для Хандрикова одинокие дни.

И ревуший поток грез его окутал. Еще чаще кашлял кровью.

Не видался с доктором Орловым. Только раз, проходя мимо неизвестного подъезда, услышал сигнал, подаваемый Вечностью. Поднял глаза. Прочел на золотой дощечке: «Иван Иванович Орлов, доктор, принимает от двух до пяти».

А вдали садилось солнце. Отсвет багрового золота огневил вывески и крыши. Все дома казались в пожаре багрового золота.

В те дни он готовил ученый кирпич – магистерскую диссертацию.

Прошел год. Снова начиналась оттепель. Закатные багрянцы, словно крылья фламинго, разметывались по бледно-голубому.

Чуялась близость. Это налетала развязка.

Диссертация была кончена. Вознаградили аплодисментами за двухчасовую скуку.

Маститые профессора грузно выплывали из аудитории.

Сиял Хандриков, а к нему подошел рецензент строгой газеты и на вопросы его Хандриков отвечал: «Я родился в 1870

году. Окончил курс в Московском Университете. Был оставлен при лаборатории для продолжения научных занятий. За исследование «О строении гексагидробензола» получил ученую степень. Родители мои, люди бедные...»

Но тут его вежливо прервал почтенный рецензент, заметив: «Больше я не стану вас утруждать».

Темные, университетские коридоры походили на подземные ходы. Тут столкнулись два седых профессора, маститых до последних пределов.

Они походили на старинных кентавров, и оба держали по увесистому кирпичу.

Поздоровались профессора. Обменялись кирпичами. Пожелали друг другу всяких благ. И расстались.

На одном кирпиче, красном, озаглавленном «Мухоморы», рукой автора была сделана надпись: «Глубокоуважаемому Николаю Саввичу Грибоедову от автора».

На другом, цвета засохших листьев, озаглавленном «Гражданственность всех веков и народов», кто-то, старый, нацарапал: «Праху Петровичу Трунову в знак приязни».

Уже извозчики везли маститых ученых – одного в Охотный ряд, а другого к Успенью на Могильцах.

Они сидели в ресторане и чествовали, обедая, Хандрикова, дававшего им обед.

Доцент Ценх повязался салфеткой. Непринужденно бесе-

довал с соседом. Говорил здраво и положительно, но в этой здравости чувствовался большой ужас, нежели в туманном мистицизме.

Внимательный наблюдатель усмотрел бы тонкую иронию, спрятанную в усах профессора. Еле видные морщинки ложились вокруг кровавых уст.

Никто этого не замечал, и профессор благополучно прятал под маской учености свое страшное содержание.

Видел Хандриков. Боялся, возмущаясь. Ценх понимал это возмущение. Вскидывал злые глазки.

В этих косых взорах было что-то жуткое, искони знакомое, позабытое, но всплывшее невзначай.

Точно знали друг друга в стародавние времена. Точно уже пропылали они ненавистью. Точно уже раз один совершил насилие над другим, и теперь воспоминание об этом ужасе пробежало черной кошкой, когда глаза Ценха встречались со взорами хмелеющего магистранта.

Хандриков пьянел. Задумал ярость и дерзость. Хотел бросить перчатку Ценху, от которого он зависел.

XIV

Случай представился, когда Ценх провозгласил тост. Встал, рисуясь, и говорил: «Я предложил бы тост за те проявления культуры, которые, будучи тесно связаны с наукой, гордо мчат человеческий гений по бесконечным рельсам прогресса. Я позволяю себе выразиться так потому, что все эти проявления разнятся друг от друга не качественно, а количественно. Я обращаюсь не столько к представителю одной из наиболее точных наук, сколько к культурному человеку. Я пью за развитие наук, искусств и философии. Я пью, наконец, за развитие общественных интересов, очищенных в горниле знаний и сулящих человечеству счастливую и спокойную будущность...»

Пьяный и ярый Хандриков попросил слова, и поняли, что предстоит выслушать дикости и наглости.

Говорил: «Обращаясь ко мне, как к представителю точного знания, вы пьете за развитие точных наук, искусств, философии и общественных интересов. Глубоко тронутый вашим тостом, я тем не менее отклоняю это обращение ко мне. О многом я думаю и кое в чем прав, может быть. Но развитие моей мысли идет вразрез с тем, что вы привыкли называть культурой. Я не вижу спокойной будущности для человечества, движимого развитием наук, искусств, философии и социальных интересов, если они не переменят своих формул».

Задвигали стульями. Зачихали. Засморкались. Пожимали плечами. Один сказал другому: «Я вам говорил». Другой отвечал: «Вы мне говорили». Улыбка жалости застыла на позеленевшем лице Ценха.

Говорил: «Социальные интересы... Упорядочение отношений государств, сословий, отдельных личностей друг к другу – можно ли регулировать отношения между личностями, менять формы этих отношений, минуя свою личность? Да и всякая схема общественного устройства, основанная на социальном равенстве, пресекает работоспособность членов общества... В термодинамике работоспособность тепла определяется разностью между очагом и холодильником. Работа исчезнет с равномерным количеством тепла здесь и там».

Хандриков начинал кипятиться, яро бросая перчатку Ценху. Кричал сиплым тенорком, прижимая руку на надорванной груди своей.

Ничего не видел, кроме двух зеленых глазок, как гвозди воткнувшихся в него, да румянца злости, заливавшего по временам мертвенные щеки доцента Ценха. И Ценх шептал: «Орловские взгляды. Медлить нельзя. Нужно в самом начале искоренить стариковское влияние. Сегодня же пошлю тревожную телеграмму в «Змеевое Логовище».

Недавно он проиграл судебный процесс доктору Орлову. Хандриков продолжал: «Не вижу будущности и для суще-

ствующих форм искусства. Иные говорят, что искусство для жизни, а иные, что жизнь для искусства. Но если искусство – копия жизни, то оно излишне при наличии оригинала. И возражением об идейности вы не измените моего взгляда. Если же жизнь для искусства, то она для отражения, которое идет всякий раз навстречу, когда я приближаюсь к зеркалу... Впрочем, я не знаю... Быть может, правы говорящие, что жизнь для искусства, потому что мы можем оказаться не людьми, а их отражениями. И не мы подходим к зеркалу, а отражение кого-то, неизвестного, подходящего *с той стороны*, увеличивается размером на веркальной поверхности. Так что мы никуда не уходим, ниоткуда не приходим, а растягиваемся и стягиваемся, оставаясь на той же плоскости. Может быть, мы стоим прямо, а может быть, вверх ногами или бегаем под углом в 45° . Быть может, вселенная только колба, в которой мы осаждаемся, как кристаллы, причем жизнь о ее движении только падение образовавшихся кристаллов на дно сосуда, а смерть – прекращение этого падения. И мы не знаем, что будет: разложат ли нас, перегонят ли в иные вселенные, обработают ли серной кислотой, чтобы мы были сернокислы, пожелают ли растворить или измельчат в ступке. Вы скажете – это упадок. Быть может, вы правы, и мы упадочники в своем развитии, а, быть может, всякое развитие ведет *и* упадку. И жизнь – последовательное вырождение, подготовляющее смерть».

Шинели. Гремели. Стучали. Вопили. Один лысый бакте-

риолог добродушно покрякивал: «Не хочу осаждаться в колбе: у меня почтенные родители». Ярость Ценха – его бурное чиханье – не имела границ, потому что и он был душевно болен когда-то.

Вот и теперь на лице его отпечатались следы душевной смятенности, но он таил про себя свои буревые неистовства, грозя неугомонному Хандрикову.

И Хандриков продолжал: «Быть может, все возвращается. Или все изменяется. Или все возвращается видоизмененным. Или же только подобным. Может быть, возвратившиеся видоизменения когда-то бывшего совершеннее этого бывшего. Или менее совершенны. Может быть, ни более, ни менее совершенны, а равноценны. Быть может, прогресс идет по прямой. Или по кругу. Или и по прямой, и по кругу – по спирали. Или же парабола знаменует прогресс. Может быть, спираль нашего прогресса не есть спираль прогресса атомов. Может быть, спираль прогресса атомов обвернута вокруг спирали нашего прогресса. А спираль нашего прогресса, насколько мы его можем предвидеть, обвернута вокруг единого кольца спирали высшего порядка. И так без конца. Может быть, эти спирали, крутясь друг вокруг друга, описывают все большие и большие круги. Или круги уменьшаются, приближаясь к точке. Может быть, каждая точка во времени и пространстве – центр пересечения многих спиральных путей разнородных порядков. И мы живем одновременно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем.

И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим для простоты. Или эта простота – совершившийся синтез многих спиральных путей, и все, что во времени и пространстве, должно быть тем, чем оно является. Может быть, наши капризы разлагаются на железные законы необходимости. Или законы необходимости – только привычки, укоренившиеся в веках. Везде решение одного уравнения со многими неизвестными.

«Как ни менять коэффициенты и показатели, неизвестное не определится.

«Все неопределенно. Самая точная наука породила на свет теорию *вероятностей* и *неопределенных* уравнений. Самая точная наука – наука самая относительная. Но отношение без относящихся – нуль.

«Все течет. Несется. Мчится на туманных кругах. Огромный смерч мира несет в буревых объятиях всякую жизнь. Впереди него пустота. И сзади то же.

«Куда он примчится?»»

И несло, и несло. И в окна стучалась метель. И белые крылья метели кружились над лесами, городами и равнинами.

XV

Одевались. Один не мог попасть в калоши от волнения. Тряс пальцем, вразумляя лысого бактериолог «Я говорил, что это опасный человек, которому место не среди ученых». «Не хочу осаждаться в колбе», – ворчал бактериолог.

В ту пору ботаник Трупов, нагнувшись над письменным столом, перелистывал «*Гражданственность всех веков и народов*».

Лысина его была озарена желтым пламенем. Стекла очков не позволяли видеть безжизненных глаз.

А филолог Грибоедов читал: «*Мухоморы*».

Оба они думали: «Сколько на свете специальностей и сколь широка каждая специальность!»

Ночь была грустна и туманна.

Вдоль тающей мостовой шагал бледный, озлобленный колпачник с поднятым воротником у пальто и с волчьей бородкой торчком.

Прохожие невольно сторонились от него, а он, придя в телеграф, отправил телеграмму следующего содержания: «Самарская губерния. Змеевое Логовище. Владиславу Денисовичу Драконову. Приезжайте. Хандриков бунтует. Ценх».

Вдоль бесконечных рельсов с невообразимым грохотом неся огромный, черный змей с огненными глазами.

Приподнял хобот свой к небу и протяжно ревел, выпуская бездну дыма.

Это он мчался из Самарской губернии, из «*Змеевого Логовища*», сознавая, что близится последняя борьба.

В соседних деревнях многие сквозь сон слышали эти зловещие стоны, но думали, что это – поезд.

XVI

На другой день Хандриков дерзнул отправиться в лабораторию, несмотря на вызов, брошенный Ценху.

Раскрыв дверь в отделение Ценха, он увидел только серотуманный грот. Посреди грота сидел неведомый колпачник с лицом Ценха, но в коричневых лохмотьях и грозился Хандрикову старинным ужасом.

В страхе побежал Хандриков вон из лаборатории. Понял – началась его последняя борьба за независимость с Ценхом.

А приват-доцент Ценх, стоявший среди химических испарений в коричневой куртке и с полотенцем на плечах, ничего не понимал.

Всю ночь Хандриков не спал. Шагал по комнате. Знал, на что шел. Шагал, дожидаясь рассвета.

Знал, что его вчерашняя перчатка не была простым несогласием. За этим пряталось нечто большее.

Знал – Ценх не простит ему. Вся жизнь будет проливать на него свои потоки ярости.

Бросая перчатку, делал вызов судьбе. Знал, что от этого произойдет перетасовка в космических силах. Собирался сделать визит доктору Орлову – врагу Ценха.

Знал, на что шел. Золотые звезды глядели к нему в окна. Ночь была безлунна. Горизонт гляделся чернотой. Неизвест-

но, что там было – небо или тучи.

Вдруг на горизонте обнаружилось сине-черное небо над тучами, окаймленными серебристой каемкой. Восходил запоздавший месяц, наполнял просветы туч серебром.

Обнаружились трубы домов черными выступами, и там, где прежде был только мрак, открылась перспектива крыш.

Он знал, что это не было спроста и что с этой ночи будет обнаруживаться такая же перспектива в самом страшном.

Прежде оно было неизвестно, и туда вливались многие известности, как ручьи в море, а теперь оно само должно проясниться, вызывая к жизни многие неизведанные ужасы и восхищения.

А уж луна вознеслась над тучами и сияла на небе. Кверху и книзу от луны тянулся воздушно-золотистый перст.

Он вышел на улицу.

Ночь пахнула сыростью. Снега таяли струями. Неслись вдоль тротуаров, срываясь в черные дыры – городские бездны. Сквозь туман раздавался голос песен одинокой Вечности: «Я иду за мраком градовым, за тяжелым испытанием».

Теплый, весенний ветер шевелил телеграфными проводами. Хандриков думал: «Что-то начинается».

Когда он возвращался домой, его путь пересекал громыхавший извозчик.

Он вез высокого старика с длинной бородой и немного сутулого. Увидев Хандрикова, старик снял перед ним широкополую шляпу и крикнул, проезжая: «Ждите орла, Хандри-

КОВ...»

Это был д-р Орлов. Страшно знакомым дуло Хандрикову в лицо, точно перед ним разверзлись хляби Вечности, а уже грохотанье извозчика замирало в соседнем переулке.

Бродил до рассвета. Золотое небо вспыхнуло красным жаром. Ряды домов, точно серые утесы, убегали вдаль.

Вдали улица пересекалась другой улицей; отрезок второй был виден из первой. Туда обратил свои взоры. Увидел нечто, встревожившее его.

Это была цепь непрерывных звеньев, как бы толстосерых бочонков, соединенных друг с другом. Места соединений сгибались, и вся цепь, грохоча, тащилась вдоль улицы.

Не видал конца и начала цепи, а только ряд соединенных, грохочущих бочонков, извивающийся между двумя рядами домов.

Потом бочонки стали сужаться и окончились гадким, черно-серым завитком, который быстро пропал, увлекаемый туловищем.

Хандриков понял, что это ползла змея, выписанная Ценхом для устрашения его.

Ужаснулся, шепча: «Вот оно... началось... И не вернуться к спокойствию».

А на оранжевый горизонт выскочило толстое, красное солнце и беззвучно захохотало, играя светом.

Он подумал: «Надо бежать к Орлову в его санаторию для

душевного успокоения».

Дома он стал укладывать чемоданы, а в стекла его окон било солнечное золото – пробивало.

И сидел на корточках перед чемоданом, просиявший в потоке золота.

XVII

К вечеру он успокоился. Ценх еще только собирал против него тучу бреда. Еще ничего не начиналось. Еще ужас сгустился.

Он мог отдохнуть и собраться с силами.

Пил свой вечерний чай не без тревоги за будущее.

Наверху музыкант играл на трубе: «Выхожу один я на дорогу», а Хандриков думал, чтобы заглушить тревогу: «Бывало, сживали мы с женою, а наверху играли все то же.

«Софья Чижиковна меня ругала. Где-то она теперь? Теперь меня никто не ругает, но мне грустно и страшно».

Против его окон черные окна пустой квартиры все так же излучали златозарный отсвет.

Некрасивое, дорогое лицо ее было увито венчальной фатой, и она была в цветах.

Он поправлял свой белый галстук. Жал ее руку и говорил: «Ведь смерть была только сном. Ведь мы неразлучны»,

А кругом были радостные лица знакомых кавалеров и дам.

Священник вывел их из церкви. Белая церковка стояла на мысе, озаренная тонким серпом полумесяца.

Кругом неслись отрывки расплывчатых тучек. Белесоватые и дымно-пепельные, они низко пролетали в священную

страну.

Пролетая под месяцем, зажигались. Подвенечная фата развевалась над миром. Была голубая ясность и серебряный блеск маленьких куполов.

Они сидели на паперти. Луна отбрасывала их черные тени, а снежная пена разбивалась у ног.

Ждали. Хандрикова разбудила прислуга, говоря: «Вставайте, барин. Сичас панихида».

Хандриков открыл глаза. Самовар заглох. Наверху перестали трубить. Хандриков подумал: «Недавно защитил свою диссертацию. Теперь надо защитить самого себя».

Поглядел в окно. Ночь была туманна. Черные окна пустой квартиры все-таки же излучали златозарный отсвет.

Позвонили. Хандриков вздрогнул. Это Ценх.

Отворяли. Кто-то разделся. Сморгался. Снимал калоши.

Скрипнула дверь.

Обернулся.

В комнате стояло странное существо. Это был мужчина среднего роста в сером пиджаке и таких же брюках.

Из крахмального воротника торчала большая, пернатая голова.

Хандриков заметил, как отчетливо врезался воротничок в белые перья с черными крапинками, а вместо Рук из-под манишек были высунуты цепкие, орлиные лапы.

Озаренный лампой, незнакомец протянул к Хандрикову

эти лапы, закинул пернатую голову и потряс комнату резким клетотом.

Вся кровь бросилась в лицо Хандрикову... Закричал, смеясь и плача: «Орел, милый... Пришел... Опять пришел»,

Схватил орла за цепкие лапы и долго тряс их в блаженном забытьи.

Орел сел в кресло. Вынул из портсигара папиросу и закурил, закинув ногу на ногу. Видимо, отдыхал от далекого пути, а Хандриков все шагал по комнате и тихо шептал: «Орел пришел. Опять пришел».

Вот орел заговорил: «Пора тебе в санаторию доктора Орлова. Ты поедешь до станции *Орловка*.

«Чемоданы я потом привезу.

«Ценх придет, а тебя уж не будет». Они надели пальто и калоши. Взяли зонты: погода менялась.

Хандриков доверчиво жался к орлу. Орел нанял извозчика. Сели в пролетку и покатали.

XVIII

Подали поезд. Орел захлопнул за Хандриковым дверцу купэ. Разговаривали между собой сквозь окна вагона.

Человек, проходивший под поездом, ударял по колесам, поливая их маслом. Раздавался звук молоточечка... «Тен-терен...»

Стоя на площадке, орел прощался с Хандриковым, говоря: «Моя роль кончена. Ты покатишь теперь сквозь Вечность в *Орловку*, в санаторию для душевно-больных».

Хандриков сердечно жал протянутую орлиную лапу, и ему стало грустно, что он так быстро расстается с орлом.

Но орел говорил: «Не грусти. Там ты утетишься. А мне суждено освобождать людей от гнета ужаса, облегчая их ноши.

«Суждено препровождать их в *Орловку*». С этими словами орел приподнял шляпу. Поезд тронулся. Из окна высунулась голова Хандрикова, прощавшегося с орлом.

Поезд мчался в полях. Хохот неразрешенного, вопль потраченного бесследно сливался в один тоскливый взывающий плач.

Точно на горизонте злилась гиена.

Платформа осталась пуста. Поезд умчался.

Постоял, постоял орел на платформе и ушел в зал 1-го и 2-го класса.

Часть третья

I

Парусина терраски надувалась от ветра. Обитатели санатории косились на терраску. Хандриков в щелку подсматривал их косые взоры.

Синее озеро прохладно изморщилось от ветра. Над озером ветер со свистом нес с деревьев цветущую пыль.

И несло, и несло – высоко возносилось это облако. Впереди были пространства. И сзади тоже.

К Хандрикову шел Орлов, кружа по маленьким дорожкам среди круглых клумб.

Борода его развевалась. Летний сюртук рвался прочь от него. Широкополую шляпу держал он в руке.

Обмахнувшись, бросил платок на сутулое плечо.

Проходящая нервно-больная обительница санатории указала глазами на терраску Хандрикова и сказала, обращаясь к Орлову: «И он безнадежен, Иван Иванович?»

«Прогрессивный», – ответил тот, расправив бороду. И вновь закружил вдоль круглых клумб, направляясь к терраске Хандрикова.

И несло, и несло – высоко возносилось оно – обла-

ко цветени, крутясь над голубым озером среди неизвестных пространств.

Хандриков отскочил от щелки, образовавшейся в надутой парусине.

И парусину раздвинули. Перед ним стоял доктор Орлов во всем своем величии.

А уж близился вечер. В незнакомом пространстве серо-пепельное облако дымилось и сверкало своими нижними краями на горизонте.

Над ним небо казалось зеленым, а под ним развернули желто-розовую ленту атласа.

И вот она линия.

II

«Как вы хитры, доктор! – смеялся Хандриков. – Сознавая, что они не поймут ни меня, ни вас, вы разрушаете гордиев узел – называете меня прогрессивным паралитиком».

Где-то сбоку играли в лаун-теннис, и по воздуху носились мячи, заносясь. Орлов не спеша положил на стол широкополую шляпу. В угол палку поставил. Потирая руки, заметил: «Да, иначе никто ничего бы не понял».

Желая переменить разговор, заметил: «Ну, как вы тут?»

Желто-розовое облако, растянувшись, краснело – крыло фламинго. Одинокое сердце Хандрикова почуяло близость – приближение.

«Превосходно, – сказал он. – Я – счастлив». Сели рядом. Молча закурили.

Везде легли златозарные отблески. Горизонт пылал золотым заревом. Там было море золота.

Отрясали пепел с папирос. Прошрое, давно забытое, вечное, как мир, окутало даль сырыми пеленами. На озере раздавалось сладкое рыданье.

Это восторг перерос вселенную.

Забывали время и пространство. Старый психиатр наклонил над Хандриковым невыразимое лицо свое. Бархатным басом кричал очарованному: «С каждым я говорю ему понятным языком.

«Так хорошо. Так лучше всего.

«Не все ли равно. Сидим ли мы тут в мантиях или в сюртуках. На берегу моря или озера?»

Орлов замолчал, но заговорили две серые бездны, сидевшие в глубоких глазницах.

Из главного фасада раздавались звуки корнет-а-пистона: «Выхожу один я на дорогу». Хандриков сказал: «Когда-то у меня была жена. Где это было? Как ее звали?»

Какое-то лицо, полужнакомое, всплыло из хаоса. Закивало и вновь утонуло.

Внезапно Орлов воскликнул, чиркнув спичкой: «Что значат мнения о вас обитателей моей санатории перед вселенной!»

Сдержанные восторги рвались из воспламененной груди его. Поднимали глаза к небесам. Небеса, истыканные звучащим золотом, спускались к их лицам.

Но стоило сделать движение, как все улетало вверх. И никто не знал, как оно высоко.

Тонкая, изогнутая полоска серебра уже стояла над озером. Растянутые облачка засверкали, как знакомые, серебряные нити, на фоне сине-черного бархата.

Весельные всплески струили серебро. В лодке пели о луне. Сладкий ветерок шептал: «Что значит доцент Ценх с его злобой и взглядами?»

Орлов говорил: «Что значит ваше сумасшествие и мое

здоровье перед мировым фантазмом? Вселенная всех нас окружила своими объятиями.

«Она ласкает. Она целует. Замерьте. Хорошо молчать».

И они замирали.

Вдали неслись багровый метеор, оставляя на озере летучую полосу огня... И струи плескали: «Не надо... Не надо...»

И метеор рассыпался потоком искр.

III

Рывкнул гонг. Доктор Орлов, застегнувшись на все пуговицы, в знак прощанья протянул Хандрикову благословляющую десницу. Пробасил ему что-то. Взял палку и шапку и направился гулять вдоль озера – чертить на песке крючковые знаки.

Кружиться, кружиться – возвращаться на круги свои.

Хандриков думал! «Ценх – ты не страшен мне. Меня защитят от твоих наскоков. Орлов со мной».

К сердцу из глубины подступало бархатно-мягкое, пьяное, грустное, тихое, ясное счастье.

Мягкий бархат глубины, крутясь, целовал и ласкал его.

Сама глубина воззвала к нему: «Твоя я, твоя. Твоя навсегда».

Любовно смотрел, как старик Орлов кружил вдоль берега. Огромный белый горб повис между небом и землею.

Лунный серп, разорвав его в одном месте, посылал на старого психиатра свои лучи.

Хандриков возопил: «Глубина моя, милая... Твою тихую ласку узнаю».

И глубина в ответ: «Твоя я, твоя. Твоя навсегда».

Из открытого окна главного фасада санатории раздавался тоскующий голос:

«Тебя я лаской огневою
И обожгу и утомлю».

Тихо кралась глубина. Стояла надо всем. Все любовалось
и томилось глубоким.

Голос пел: «Побудь со мной, побудь со мной!»

IV

Однажды Хандрикова посетили его товарищи: два пасмурных лаборанта. Трепали его по плечу и неловко твердили: «Мужайся, брат: еще ты напишешь докторскую диссертацию...»

Хандриков думал: «Это шпионы Ценха». Водил их по зеленому саду.

Темно-бархатная, древесная зелень шумела о глубоком. И качались солнечные пятна на песке.

Когда же они уехали, передавали друг другу: «Хандриков безнадежен».

А он еще стоял в аллеях, беспокоясь о том, что пребывание его узвано.

А над ним раздавался темно-зеленый трепет и шум бархатной глубины: «Побудь со мной, побудь со мной!» И на песке испуганно метались солнечные пятна.

В те дни воздух был прозрачен, как лучистая лазурь. По вечерам вспыхивали зарницы, словно заоблачно-красные мечи, растекаясь по горизонту.

Хандриков заметил, что Орлов совсем особенный. Впечатление усиливалось, когда он смотрел на сутулые плечи старика.

Однажды, обернувшись невзначай, Орлов поймал недоумевающий, синий взор Хандрикова, смотрящего на него из

за шелки парусины.

V

Они простились. Орлов пошел в освещенный дом. В доме окна будто светом улыбались. Хандриков прижался к улыбавшимся стеклам.

Орлов разговаривал с молодой женой. В зеркале отражалась его спина. Стенные часы как-то дико оскалились и забили отъездом.

Гулкие удары понеслись из сияющих окон, теперь они весело блистали, и весь дом улыбался насмешкой. Но Хандриков не обращал внимания на улыбки. Он глядел сквозь стекольные блики. Там, за стеклами, жестикулировали.

Из жестов Хандриков понял, что кто-то уезжает.

Долго стоял в нерешительности. Низкие, черные тучи тащились по небу.

Орлов ушел в соседнюю комнату. И часы били отъездом.

Ветер дул в спину Хандрикову. Обдувал его бархатным песочком.

Откуда-то пронеслась струя холода. Свисающая полоса града быстро надвигалась с севера.

Беспокойный Хандриков, мучимый неведомым, тихо подкрался к двери, ведущей в комнату старого психиатра.

Прижался к замочной скважине.

Со свечей в руке и без сюртука Орлов укладывал чемодан. Собирался к поезду. Сердце упало у Хандрикова.

Тут скрипнула дверь и распахнулась. Полыхнуло желтое пламя. Ласковый голос, едва сдерживающий досаду, нарушил неловкое молчание: «Все-то вы, Хандриков, подсматриваете за мной».

Сидели у Орлова. Орлов говорил: «Идите-ка спать... Ну чего вы волнуетесь понапрасну: ехать мне надо, и по весьма серьезной причине. С вами ничего не случится».

Пламя свечи уморительно трепетало. Серебряные полоски обой – не полоски, а струйки воды – беззвучно стекали по серым стенам.

Затененный Орлов сел на чемодан. Теперь из мрака блистали стекла его очков.

Хандриков. «Я боюсь. Без вас нагрянет Ценх. Заставит меня отказаться от своих воззрений. Говорят – устроил против нас заговор».

Сверкнула молния. Гром зарокотал, но споткнулся.

Орлов. «Это ничего. Это только так кажется. А если это и правда, моя заграничная поездка расстроит все козни».

В окна застучали частые белые градины, и Орлов сказал, поворачиваясь: «Град». Повеяло холодком. Смолк.

Сидел, пригорюнившись.

Градины перестали стучать в окне. Засиял месяц.

Серебряные обои – не полосы, а струйки – беззвучно стекали откуда-то. Кто-то оглашал окрестность протяжным ревом.

Хандриков. «Иван Иванович, кто это ревет так протяжно, так грустно над полями? Где я слышал этот голос?»

Орлов. «Это почтовый поезд несется на север. Машинист производит известные манипуляции, в результате которых поезд начинает свистать. Идите спать, Хандриков. Вам вредно засиживаться».

И когда Хандриков заметил: «Вы меня успокоили, Иван Иванович», старик молча вынул папиросу из серебряного портсигара и, закурив, взял свечку, чтобы осветить путь Хандрикову.

Вышел. Град окончился. Пронизывающий холод охватил его. Разразившаяся туча, протаскиваясь из полярных стран, уходила на юг.

Туча была хмурая, черно-синяя. А над ней высилась цепь снежных шапок и острых, ледяных пиков. Это были воздушные ледники, предтечи будущих холодов.

Ослепительно сверкали они. Месяц – знакомый, вечерний приятель – разгуливал по фону небес, слегка бирюзовому, нежно-серому.

Далекий гул смутил Хандрикова. Вдали неслись багрово-окий змий с поднятым хоботом – неслись среди равнин. Неслись

– уносился.

Выбивая зубами дрожь, Хандриков пробирался домой, шепча: «Ты мне не страшно, чудовище...»

Сердце его забилося от приближения глубины.

И опять она стояла, любовно шептала ему о возможном счастье. Замирающая улыбка ее дразнила Хандрикова.

Кто-то из обитателей санатории пел:

«Напрасно хочу заглушить
Порывы душевных волнений
И сердце рассудком унять».

И смеясь, и тоскуя, целовал он воздух – эту милую, свежую ясность. И пели:

«Не слушает сердце рассудка
При виде тебя...»

Туча ушла. Снежные шапки размазались, а ледяные пики опрокинулись.

VI

Они шли с психиатром. Над ними раздавался трепет и смутный шум бархатисто-зеленой глубины. На песке испуганно метались солнечные пятна.

Ветер устраивал на берегу пылевые круги. Кружился, кружился – возвращался на пути свои.

Кристалльные озера чистоты засияли в глазах Хандрикова. Губа у него отвисла, и весь он казался ребенком, когда спросил Орлова: «В газетах пишут, что где-то открылись дальние страны».

Старик сморкался в батистовый платок. Хлынул ветерок с синего озера. Заметалась бархатистая листовенная глубина, да испуганные пятна солнца. И Орлов веско отрицал: «Ну еще рано думать об этом...»

И прибавил: «Что вы чудите. Завтра еду за границу. Покажемся по озеру на прощанье».

Сидели в лодке, колыхаемой волнами. Хандриков вставил ключины. Орлов принялся грести.

Он указал веслом в даль синего озера, баяя: «В даль Хандриков... в даль...»

Греб, вспеняя синие волны. Производил жемчужный водоворот. Дугой изогнулась спина. Голова закинулась с раздуваемым серебром волос.

Ветер свистал в ухо: «В даль... В даль...»

Распахнулась дверь мужской купальни. Присяжный поверенный, лысый, длиннобородый, курносый, лечившийся от нервности, голый стоял над озером.

Солнце склонялось на яхонтовом фоне. В лучах заката горело пламенное лицо. Испуская ревы, похлопывал по вздутому животу.

С вытянутыми руками низвергался в пучину, производя падением рубиновый водоворот. А в дверях топтались голые подростки: «Ну-ка, ну-ка, сынишки. У кого хватит смелости?»

Лысина сияла. Голова высилась над синью озера на фоне зари. Над озером оседал яхонт. На него сбоку наплывала покорная туча своими длинными, узкими перстами из расплавленного золота.

Озеро отражало небо. Им казалось, что они несутся между двумя небесами. Головокружение – коварная обитательница высот – вскружило им головы. Но Орлов ничего не боялся.

Вертел веслом. Головокружительные слова срывались с уст. Развивал теософские взгляды свои. Кивал солнцу, крича: «Садится».

И оно садилось. Багряно-огненный полукруг убегал в, невозвратную глубину. Осталась одна сверкающая точка.

Психиатр говорил: «Успокойся, Хандриков. Все пройдет. Все к лучшему». Встал, держа в руке сырое весло. Расправляя бороду, пел бархатным басом: «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы».

Вечерняя прозрачность была напоена грустью. Белогрудый рыболов здесь и там рассекал эту прозрачность. Тихо покрикивая, уносился в даль.

И вновь прилетал, смеясь над невозможным.

Хандриков заглянул туда, где не было дна, а только успокоенная бесконечность. Ожидал видеть свое отражение, но увидел глядевшего на себя ребенка из-под опрокинутой лодки, то белевшего, то вспыхивавшего.

А бархатный бас Орлова мощно звучал между двумя небесами: «Благословляю я свободу и голубые небеса».

День мерк. Огненные персты – персты восторга – тихо гасли один за другим.

Хандриков уставился на колыхаемую зеркальность. Лодка плыла в воздушном океане. Берега кольцом охватили воздушно-синий пролет, казавшийся озером.

Но это не было озеро – зеркало, отражающее небо: это было само небо, в котором они опрокинулись с лодкой и с Орловым.

Там все казалось лучше.

Хандриков воскликнул: «Иван Иванович, не это ли граница?» С этими словами он ткнул пальцем в бледно-бирюзовую

поверхность. И палец его ушел во что-то холодное, мягкое.

«Не туда ли за границу вы уезжаете?»

Орлов усмехнулся в бороду, вертя веслом: «А хоть бы и *туда*: вам-то что...» Но Хандриков молчал. Он был доволен и утешен. Он начинал понимать кое-что.

Катались до ночи. Сверкавшие созвездия были так ясны, так отчетливы. Орлов протягивал свой матово-бледный палец туда и сюда. Тряс бородой, приговаривая: «Это созвездие Кассиопеи. Это звезда Coronы. А вон там созвездие Персея.

«Сегодня летят Персеиды... Их путь далек...

«Он протянулся далеко за Нептун... И они не боятся длины своего пути...

«Смело летят все вперед, все вперед – и снова возвращаются на прежние пути свои».

То тут, то там показывались золотые, низвергающиеся точки. И гасли.

Вскинули головы. Орлов говорил: «Это летят Персеиды. В бешеном полете своем не боятся пространств.

«Они летят все вперед... далеко за Нептун, в темных объятиях пространственности...

«Им чужд страх, и они все одолеют полетом... Сегодня улечу я, а завтра – вы – и не нужно бояться: мы встретимся...»

Они долго следили за пролетом Персеид. То тут, то там показывались золотые, низвергающиеся точки. И гасли.

Орлов шептал: «Милые мои, поклонитесь Нептуну».

В небе тянулись белые, перистые облака, высоко сглаженные ветром.

VII

С утра Хандриков горевал. Д-р Орлов, сердечно простясь с молодой супругой, уехал за границу.

Он был в черном, дорожном пальто и в мягкой шляпе. Заботливо распорядился, куда что класть из своих дорожных вещей, не обращая внимания на просьбы супруги предоставить ей эти хлопоты.

Наконец, семейство Орлова, чтя русский обычай, присело на кончик стульев, расставленных на террасе.

И Орлов безжалостно прервал это сидение: запечатлев поцелуй на устах горюющей жены, ловко прыгнул на деревенского извозчика. Махая шляпой, укатил за границу.

Орлов стоял у кассы и брал билет. Из подкатившего поезда вышел Ценх. Прошел мимо Орлова. Сухо раскланялись.

Орлов, держа в руке желтый билет, обернулся и насмешливо смотрел Ценху вслед. Когда же ему отдали сдачу, он нагнал Ценха и отвел его в сторону... «Вы к Хандрикову?»

И Ценх в ответ: «Я приехал исполнить свой долг – навещать страдающего».

Но доктор Орлов, нахмутив брови, вдруг стукнул палкой и горделиво выпрямился. Его бае загремел, как раскаты грома: «Опять лжете, обманчивое создание».

Поднял крючковатую палку и грозно потряс над Ценхом.

Подошедший жандарм лениво заметил: «Здесь нельзя, барин, безобразничать».

Но Орлов величественно подставил ему спину. Взял у носильщика багажную квитанцию.

VIII

Орлов уехал в дальние страны, и Хандриков не печалился. Он знал, что нужно без страха преодолевать пространства. Знал, что встретятся.

Надвигалась осень. Лист сверкал золотом. Зори отливали лилово-багряным. На берегу озера осенний ветер крутил сухими листьями. Устраивал танцы золота.

И несло, и несло, крутясь, – смерч листьев. Впереди был берег. И сзади тоже.

По вечерам Хандриков отвязывал лодку. Выезжал на середину озера. Вставал туман. Осаждались росы. Все казалось таинственно-чудным. Хандриков всматривался в отражение. Ему казалось, что он висит в пространствах, окруженный небесами. Говорил, указывая на воду: «Орлов ушел туда – за границу».

Оттуда смотрел на Хандрикова похудевший ребенок с лазурными очами и тихонько смеялся над ним.

Он смеялся оттуда, насмешник, из дальних стран.

И Хандриков думал: «Вот я опрокинусь и буду там, за границей, а насмешник вынырнет сюда со своей лодкой... Вот я».

И чем больше всматривался в глубину, тем прекрасней казались опрокинутые, дальние страны.

Где-то пели: «Приди ко мне, приди ко мне». Ему казалось

– это возникал старческий зов, знакомый и милый.

Говорил себе! «Орлов зовет... Опять зовет...»

Видения стали его посещать. Однажды гулял в лесу. Раздался топот копыт и дряблый голос: кто-то вычитывал: «Глава 26-я: гражданственность у папуасов».

На дорожке показались двое кентавров – оба старые, оба маститые, в черных, широкополых шляпах и таких же плащах. Они держали друг друга под руки.

На их жилетах плясали брелоки, а на широких носках блистали очки. Обмахивались хвостами и шуршали прелыми листьями. Один держал перед носом толстую книгу... Другой, увидев среди мха огненного красавца, мухомора, нагнул к нему толстое туловище.

Наливаясь кровью, сорвал мухомор и торжественно рассматривал его прищуренными глазками, предварительно поднявши на лоб очки.

Его товарищ воскликнул: «Прах Петрович, я не согласен с этим местом». Оба крупно заспорили.

Один, размахнувшись, швырнул мухомор в лоб другому, и огненный красавец разбился вдребезги о высокое чело.

Обернувшись друг к другу, они стали ржать и брыкаться, обмахиваясь хвостами.

Хандриков посмеялся тогда.

IX

Орлов писал из-за границы, из дальних стран. В ярких красках он описывал блаженство тех мест и звал к себе жену.

Молодая дама в восторженных словах передавала Хандрикову содержание этих писем.

И Хандриков думал: «Да уж знаю я». Смеялся и подмигивал самому себе. Вспоминал свои озерные прогулки и полеты по воздуху между двух небес.

Все чаще и чаще хотелось ему перекувырнуться в воздухе, чтобы самому погрузиться в дальние страны, перейти за черту. Стать за границей. Вытеснить оттуда свое отражение. Вернуться к Ивану Ивановичу.

Это желание становилось настойчивей после писем старого психиатра.

Была осень. Озеро замутилось туманом. Лист сверкал золотом.

Небеса и озерные воды казались нежными, хрупкими, точно из золотисто-зеленого стекла.

Хандриков отвязывал лодку, гремя цепью. Вот он отделился и понесся на середину озера. Ему казалось, что он несется между двух небес. Опрокинутое отражение сопровождало его.

Темнело. Красный диск, пущенный из-за горизонта рукой

великана, плавно возносился в вечернюю глубину.

Туманная нежность глубины обуяла его сердце, и он сказал себе: «Пора опрокинуться».

Белый рыболов носился над изумрудно-золотой бездной, тихо покрикивая и смеясь над невозможным.

Как сквозь сон, видел Хандриков прибрежную лавочку и на ней длиннородого присяжного поверенного, рассеянно следившего за мелькавшей лодкой.

Засверкавший месяц, пойманный в снежно-игольную сеть перистых тучек, мерк грустно.

Что-то звучало: «Приди ко мне... Приди ко мне...» Лодку качало. От нее расходились круги, отливая лилово-багряным. И он решился.

«Иду к тебе...» Мгновение: изумрудно-золотая вода, журча, хлынула в зачерпнувшую лодку и отливала тающими рубинами. Всплеснул руками и ринулся в бездну изумрудного золота. Отражение бросилось на Хандрикова, защищая границу от его вторжений, и он попал в его объятия.

Крикнул рыболов над ухом захлебнувшегося, смеясь над невозможным.

Присяжный поверенный рассеянным взором следил за мелькавшей лодкой. Увидел – лодка качнулась и быстро стала уменьшаться. Присмотревшись, увидел перевернутое дно.

Вскочил с лавочки, потрясая руками: «Помогите: Ханд-

риков утопился...» На берегу озера осенний ветер крутил листья – устраивал танцы золота. И несло, и несло...

Никто ему не откликнулся. Плавало дно перевернутой лодки. Засверкавший ветер продолжал возноситься.

Мгновение: небесная глубина коснулась лица Хандрикова, но он сделал движение. Небеса унеслись вверх, и никто не мог сказать, как они высоки.

Вздыхал облегченно. Челн качался. Пролетели черные, ночные кулики, задевая его упругими крыльями.

Заглянул вниз: отражались опрокинутые берега с опрокинутой лавочкой. Присяжный поверенный стоял на берегу, воздевая руки, вверх ногами. Пошли волны.

Отражение замутилось.

X

Поднял голову. Виделась полоска суши. Из бесконечных далей океана волны гнали челн к берегам.

Догорающее небо сияло чистотой. Вдали, вдали синий, взволнованный облачный титан расплывался на далеком западе.

Волны выбросили челн. Ветер кружил серебряный песочек, устраивал танцы пыли. На берегу стоял сутулый старик, опершись на свой ослепительный жезл. Радовался возвратной встрече.

В руке держал венок белых роз – венок серебряных звезд. Поцеловал белокурые волосы ребенка, возложив на них эти звезды серебра.

Говорил: «Много раз ты уходил и приходил, ведомый орлом. Приходил и опять уходил.

«Много раз венчал тебя страданием – его жгучими огнями. И вот впервые возлагаю на тебя эти звезды серебра. Вот пришел, и не закатишься.

«Здравствуй, о мое беззакатное дитя...»

Стояли на берегу. Ребенок доверчиво жался к старику, измеряя звездные пространства. Старик обнял ребенка. Указывал на созвездия.

«Вот созвездие Рака, а вот – Креста, а вот там – Солнца».

Над ними ослепительные звезды невиданным блеском озаряли безмолвие.

Это были звезды Геркулеса.

Старик говорил: «Сегодня летят Персеиды. Их путь далек. Он протянулся далеко за Землю.

«Смело летят все вперед, все вперед. В бешеном полете не боятся пространств и все преодолеют полетом».

Оба закинули головы. То тут, то там проносились золотые точки.

И гасли.

Долго следили за пролетом Персеид.

Старик шептал: «Милые мои... Поклонитесь Земле...»

1905 г.